

Сергей Михеенков

ПИСАТЕЛЬСКАЯ РОТА

(О тех, кто к штыку приравнял перо)



Сергей Егорович Михеенков родился в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Окончил Калужский государственный педагогический институт, Высшие литературные курсы. Служил в рядах Советской Армии. Публиковался в журналах «Подъём», «Москва», «Наш современник», «Юность», «Сура», «Аргамак». Автор многих книг прозы и исторической документалистики, вышедших в издательствах «Вече», «ЭКСМО», «Молодая гвардия», «Центрполиграф». Биограф маршалов Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, певицы Лидии Руслановой. Живет в Тарусе.

Глава тринадцатая

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

**«ПО МНЕ ТРИ РАЗА
ПАНИХИДУ ПЕЛИ...»**

1

Сергей Наровчатов родился 3 октября 1919 года в Хвалынске под Саратовом. Детство провел на Волге и в Москве. Родители жили постоянно в Москве, а в Хвалынец приезжали на лето. Там будущий поэт и родился. О волжском хвалынском детстве Наровчатов вспоминал: «Навсегда запомнились краски, звуки и запахи тех лет. Белая, голубая, лиловая сирень. Она нагревается на солнце, и уже не запах, а какой-то сиреневый чад плывет над садами. Над рекой перекликаются гудки — у каждого парохода свой, и мальчишки безошибочно угадывают: снизу идет “Лермонтов”, а сверху “Пушкин”. На пристани — крики грузчиков, лязг цепей, шумная суতোлка. Там же крепкий запах дегтя, рогож, рыбы. Все это вместе называлось Волгой».

Читать научился рано, четырех лет. «С тех пор чтение — постоянная и ненасытная потребность», — признавался Наровчатов. В семье

Продолжение. Начало в №№ 6–7, 10–11, 2023 г.

книги любили, эта любовь передавалась из поколения в поколение. Отсюда страстное, во всю жизнь, *книгоцелство* Наровчатова и его *книголюбие*.

Биографы поэта говорят, что корни Наровчатова уходят «в древние пензенские леса, в маленький городок Наровчат, известный уже с XIV века». Дед, Яков Капитонович Рагузин, служил в земстве на должности уездного библиотекаря. Одна из его дочерей и будущая мать поэта, Лидия Яковлевна, стала библиографом. Вот откуда «постоянная и ненасытная потребность» у сына и внука. Дед Яков Капитонович был лично знаком с Джоном Ридом, Ярославом Гашеком, Алексеем Толстым и Константином Фединым.

Фамилию в Москву тоже привезли из Наровчата.

Дочь поэта, Ольга Сергеевна Наровчатова, свидетельствует: «Мой дед Сергей Николаевич Наровчатов родился в 1894 году в Царицыне. После окончания реального училища поступил, а в 1918 году окончил Московский институт народного хозяйства. С 1918 по 1930 год работал экономистом в Центросоюзе, Наркомате снабжения СССР и в Московском промышленно-экономическом институте. Был оклеветан, арестован и осужден. В Магадан прибыл как заключенный в октябре 1932 года».

Лидия Яковлевна с тринадцатилетним Сергеем последовала за мужем. Сам же Наровчатов потом расскажет об этой семейной трагедии облегченно, без трагических нот (тогда эти семейные язвы не демонстрировали ни по злобе, ни милостыни ради): «... в нашей жизни произошла резкая перемена. Вместе с родителями я уехал на Колыму, где они стали работать в системе треста “Дальстрой”».

В Магадане Наровчатов окончил десятый класс школы.

О жизни в Магадане Наровчатов вспоминал как о прекрасном времени: «Охота и рыбная ловля, спорт и опять-таки чтение — таковы были наши постоянные занятия. По целым дням ребята пропадали в тайге или на побережье. Четырнадцать лет мы все обзавелись ружьями, и они не оставались у нас без дела. Зимой куропатки, весной утки составляли нашу добычу, пока мы не подросли. В шестнадцать лет некоторые из нас уже охотились на медведей, и первая известность пришла ко мне в виде “подвала” в местной газете, где живописались наши охотничьи подвиги. В той же газете я напечатал свои первые стихи.

Мне было семнадцать лет, когда я окончил школу и поехал через весь Дальний Восток и Сибирь в Москву. Добирался до столицы больше месяца и едва успел подать заявление в институт. Парень я был тогда неутомимый и, узнав, что до начала занятий есть еще время, провел остаток лета с альпинистами в Кабарде.

Со времен Колымы прочно вошла в мою жизнь другая страсть — любовь к растениям. Она во многом определила потом мои поступки. Каждое студенческое лето я проводил с товарищами в походах. Мы прошли на веслах всю Волгу, побывали на Дону и Кубани, прошли пешком весь Крым. Летом 1939 года уехали на Большой Ферганский канал, работали там, объехали почти весь Узбекистан. Все эти поездки обогащали новыми впечатлениями, расширяли кругозор, расцветивали жизнь, и без того хорошую и ясную. Молодость начиналась весело и бурно».

Учеба в Институте истории, философии и литературы — ИФЛИ, — общение с преподавателями, известными учеными, литературоведами, философами принесло не только знания, но и культуру общения. Мир расширился в глубину.

«Светлой и доброжелательной была атмосфера, которой мы дышали в аудиториях и общежитиях», — тепло вспоминал Наровчатов свою *alma mater*.

Стихи он начал писать рано, чуть ли не с той поры, когда овладел грамотой. В пятнадцать лет в газете «Колымская правда» опубликовал первое стихотворение.

О своей студенческой поэтической юности Наровчатов писал так: «В те годы мы — молодые поэты — настойчиво стучались в двери не журналов и издательств, а своих учителей в поэзии. К ним в первую очередь надо отнести И.Л. Сельвинско-

го, у которого многие, в том числе и я, прошли тогда серьезную школу стиха. Всегда мы ощущали на плече могучую длань незабвенного “дяди Володи” — В.А. Луговского. С требовательным доброжелательством выслушивал наши новые стихи Н.Н. Асеев. Это были основные наши “прописки” в поэтической Москве, но сколько еще поэтов “хороших и разных” напутствовали тогда добрым словом юных подвижников стиха! А мы действительно были подвижниками — мы жили поэзией, бредили поэзией, молились поэзии.

В марте 1941 года журнал “Октябрь” напечатал подборку под заголовком “Стихи московских студентов”. Так впервые в “толстых” журналах появились имена Кульчицкого, Слуцкого, Самойлова и мое. Казалось, мы выходим на «печатную» дорогу. Но через три месяца грянула война, и другие дороги повели нас к другим горизонтам».



Сергей Наровчатов

2

Горизонты были затянуты пороховым дымом, копотью сгоревшего жилья, кровавая мгла ползла все дальше на восток.

Для Наровчатова это была вторая война. На первую, так называемую Зимнюю войну, он ушел в декабре 1939 года добровольцем вместе со своими однокурсниками. Их, молодых, спортивных, зачислили в легкокольный батальон. «Короткая эта кампания, — вспоминал Наровчатов, — оказалась трагичной для нашего добровольческого батальона. Из нас четверых двое — Михаил Молочко и Георгий Стружко — погибли во время рейда по тылам противника. Мы с Виктором Панковым, тяжело обмороженные, попали в госпиталь. Там встретили мы окончание войны и возвратились в Москву, потрясенные всем увиденным и пережитым в эти короткие и одновременно долгие дни. Но молодость быстро взяла свое, и к началу новой, в этот раз великой войны мы были опять готовы к испытаниям».

После госпиталя Наровчатов перешел в Литературный институт. ИФЛИ заканчивал экстерном. Экзамены и там, и там сдал успешно перед самой войной, получил оба диплома и снова надел шинель.

Проходим перроном
Молодые до неприличия,
Утреннюю сводку
Оживленно комментируя.
Оружие личное,
Знаки различия,
Ремни непривычные:
Командиры!
Поезд на Брянск.
Голубой, как вчерашние
Тосты и речи, прощальные здравицы.
И дождь над вокзалом.
И крыши влажные.
И асфальт на перроне.
Всем нам нравится.

Семафор на пути отправленья маячит.
(После пойдем — в окруженья прямо!)
А мама задумалась...
— Что ты, мама?
— На вторую войну уходишь, мальчик!

Октябрь 1941

Вот рассказ Наровчатова о *его* войне: «Военные годы — самые емкие и наполненные в моей жизни, именно поэтому о них труднее всего говорить. Или уж рассказывать обо всем в полном объеме, или ограничиться перечислением каких-то главных ее общностей, ставших частностями личной твоей судьбы. На войне я сформировался и как человек, и как поэт. Все мои хорошие и дурные стороны — и в жизни, и в творчестве — с определяющей четкостью определились именно тогда. После войны происходило либо развитие, либо угасание тех или иных качеств, но начала их были заложены в те годы.

Войну я увидел, пережил, перенес с самого начала и до самого конца. Физически судьба меня удивительно щадила — одна легкая царапина от пули за всю войну! Нравственно же она пощады не давала никому, и я тут не стал исключением. Но все я получил сполна — и горечь поражений, и счастье побед. Я помню страшные дороги отступления — мы прошли их с Лукониным, выходя из окружения брянскими лесами и орловскими нивами в 1941 году. Я помню блокадный Ленинград — прозрачные лица, осмущенку хлеба и стук метронома по радио. И я помню ветер боевой удачи, пахнэвший нам в лицо на равнинах Прибалтики. И я вижу до сих пор в снах распахнутые ворота гитлеровских концлагерей в Польше, откуда, плача и смеясь, бежали навстречу нам люди всех наций и языков. День Победы я встретил в центральной Германии, и одно воспоминание о тех немых днях пьянит меня сильнее любого вина.

Война принесла мне дружбу таких моих сверстников-поэтов, как Георгий Суворов и Михаил Луконин. Война подарила мне доброе рукопожатье Н.С. Тихонова, большого поэта и человека, чьи советы и пожелания помогали и в ту пору, и долго после. Война наградила меня дружбой многих отличных людей, которых я встречал на своем пути гораздо больше, чем плохих.

На войне вступил в партию, до того я был комсомольцем, и принадлежность к этому великому коллективу стала с тех пор для меня так же естественна, как мое существование.

Война научила писать меня те стихи, с которыми я мог начать прямой разговор с читателем и услышать ответный отклик.

Война многое и отняла у меня, — список потерь надо было бы начинать с друзей, а кончить молодостью.

После войны я вернулся в Москву, и тут же началась та часть моей биографии, которая интересна главным образом стихами, отразившими мои думы и чаяния в эти годы. Я целиком занялся литературным трудом. Много езжу по стране, забываясь в наиболее отдаленные ее края. Побывал в местах своей юности — Колымском крае, объездил Курильские острова, Сахалин, Чукотку, Камчатку. К поездкам отечественным присоединились зарубежные. Увидел все пять материков. Путевые впечатления частично уже отпечатались новыми стихами, а многое еще ждет строк и рифм.

До сих пор мои строки уложились в сорок пять книг поэзии, критики, литературоведения, воспоминаний, первой из которых стал стихотворный сборник «Костер», изданный в 1948 году. Сейчас я живу в предощущении новых стихов. Планов много, и осуществление их зависит только от меня самого» (1965).

Как видим, этот монолог по своей внутренней сути — признание поэта в любви к войне. Распространяя это наблюдение на все военное поколение писателей и

поэтов, можно сказать, что таких монологов, высказанных и невысказанных, было много. Даже в проклятиях войны, буквально тут же, ложились на бумагу слова о крепкой солдатской дружбе, слова восхищения подвигом своих боевых товарищей, слова солдатской, сыновней любви к Родине. (Написал это и невольно вспомнил строки из письма нижегородца Федора Сухова Станиславу Куняеву 1989 года: «Я был три года на передовой, был противотанкистом, было невыносимо, и мне — могу уверенно заявить — помогло то, за что ты ратуешь — любовь к своей родине... В сущности эта любовь помогла нам выстоять».)

Они все, выжившие, прошли дорогами ада. Слепой Харон перевез их через Стикс в царство Аида, а потом, к своему удивлению, назад. После путешествия по царству Аида, после схваток с силами зла, в которых потеряли кто ногу, кто руку, кто получил тяжкую контузию, они имели право на свою правду. И она была разной. И они имели право на эту разность...

3

Но вернемся на некоторое время назад.

Летом 1941 года Наровчатов добровольцем записался в 22-й истребительный батальон. Товарищи избрали его комсоргом. Вскоре по распоряжению Верховного Главнокомандующего Главное политуправление отозвало литераторов с передовой и направило в дивизионные, армейские и фронтовые газеты. Сергей Наровчатов и Михаил Луконин получили направление в редакцию армейской газеты «Сын Родины» 13-й армии Брянского фронта. И попали в самое пекло.

В октябре 1941 года на центральном участке фронта на московском направлении немцы начали масштабную операцию под кодовым названием «Тайфун». Группа армий «Центр» таранным ударом прорвала оборону трех наших фронтов — Западного, Резервного и Брянского — и охватила основные их силы, сформировав несколько гигантских «котлов». Один «котел» был замкнут в районе Вязьмы, другой в районе Рославля и Брянска.

13-й армией командовал генерал М.А. Городнянский.¹ Талантливый военачальник, мужественный и храбрый офицер. Дивизии 13-й армии оказались под концентрированным ударом танковых и моторизованных соединений 2-й танковой группы генерала Гудериана. На участках прорыва Гейнц-Ураган, как называли в немецких штабах своего лучшего танкового генерала, создал подавляющее преимущество в бронетехнике и живой силе. В небе постоянно висели бомбардировщики и истребители 2-го воздушного флота генерал-фельдмаршала Кессельринга. 3-го октября немцы ворвались в Орел. 6-го — Брянск. Армии Брянского фронта, в том числе и 13-я, частично были смяты, частично отеснены. Попытки Став-

¹ Авксентий Михайлович Городнянский (1896–1942) — генерал-лейтенант. Родился в селе Талы под Воронежем. В русской армии с 1915 года. Участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер. С 1918 года в Красной Армии. Член ВКП(б) с 1919 года. Во время Гражданской войны командовал ротой, стрелковым полком. В 1924 году окончил курсы «Выстрел». С 1938 года командир 101-й стрелковой дивизии 2-й Отдельной Дальневосточной Краснознаменной армии. Комбриг. В июне 1940 года переаттестован со званием генерал-майор. В начале Великой Отечественной войны командир 129-й стрелковой дивизии. Участвовал в Смоленском сражении. В августе 1941 года назначен командующим 13-й армией. Успешно действовал в ходе Елецкой операции. В январе 1942 года назначен командующим 6-й армией. В ходе Харьковской операции 6-я армия в результате просчетов командования Юго-Западного фронта оказывается в окружении. Городнянский погиб при попытке выйти из окружения в ходе рукопашного боя. Похоронен на хуторе Орлиноярск Петровского района Харьковской области. После освобождения Харьковской области перезахоронен в Харькове на Пушкинском кладбище.

ки усилить брянское направление свежими частями и соединениями успеха не имели. Создалась угроза окружения основных сил Брянского фронта. В результате серии контрударов часть сил избежала окружения. Однако дивизии и бригады 3-й, 13-й и 50-й армий оказались в окружении. Немцы не смогли организовать плотную блокаду окруженных, и значительная часть дивизий и полков смогла вырваться из «котла». Во время боев на прорыв был тяжело ранен командующий Брянского фронта генерал А.И. Еременко. Погиб командующий 50-й армией герой Испании генерал М.П. Петров.

7 октября 1941 года штабом 13-й армии была получена директива Ставки Верховного Главнокомандования пробиваться на восток: «Прикрываясь сильными аррьергардами, отходить и наносить удар в направлении Игрицкое, Дмитриев-Льговский, Костина, иметь уступом назад одну дивизию для обеспечения отхода с юга».

Армии Брянского фронта начали движение на восток, уже находясь в полном или частичном окружении. Наиболее тяжелое положение сложилось в полосе 13-й армии. Соединениям генерала М.А. Городнянского пришлось пробивать несколько последовательно расположенных заслонов немецких войск. В ходе движения на юго-восток в обстановке почти непрерывных боев дивизии распадались на полки, отдельные группы и группки. С одной из таких групп выходили из окружения два поэта из редакции армейской газеты «Сын Родины».

Михаил Луконин вспоминал: «10 октября 1941 года около деревни Ногино нас окружили немцы. Мы выскочили из грузовика, и он тут же вспыхнул... Наровчатов и я кинулись через улицу за дома, в коноплю, зовя за собой остальных с комиссаром. В нас стреляли... и мы стреляли прямо в упор, но силы были неравны. Мы уходили. И из конопли, стремясь к лесу, вырвались на перепаханную поляну и поползли под огнем. Между нами чавкали мины, больно ударяя брызгами мерзлой грязи, перед лицом вставали фонтанчики земли, выковырянные пулями. Краем глаза я видел за дорогой серые каски, немцы целились, поводили дрожащими автоматами, дрожали сами. А рядом поднимались, вскрикивали, падали люди...»

Наровчатов: «Заснеженное поле...10 октября 1941 года. Первый мокрый снег упал на Брянщину, и на нем наши шинели выделяются как на показ: бей, не хочу! И по нам бьют прицельно, не спеша, на выбор. Мы окружены, и нам предстоит пройти 600 верст, пока мы не минуем вражеские посты. И все шестьсот — шаг в шаг, плечом к плечу с Лукониным. Бои под Ельцом, Ливнами, Верховьем — вместе. А потом весной меня посылают на политкурсы в Иваново. Луконин тоже не пропустит их, но после меня. Нас раскидывают по разным концам фронта...»

Луконин — снова об окружении: «Мы пошли за красным околышем батальонного комиссара. Из шестидесяти нас осталось двадцать. Потом, в схватках, и дальше таяла наша группа. В одном месте немцы еще раз окружили нас, схватили комиссара, но он успел выстрелить в себя. Эта осень была прощанием с юностью... Из окружения мы все-таки вышли к Ельцу — я и Сережка. Нас посадили в сарай с соломой и каждый день вызывали на допрос:

— Почему остались живы?

— Где были целый месяц?

— Как это он застрелился, трус! — кричали они про нашего бывшего редактора.

— Редакция от вас отказалась. Редактор сказал, что ему не нужны окруженные, — говорили нам.

После четырехсоткилометрового бега через Брянские леса это было тяжелым ударом. Сергей тарашил свои голубые глаза и не верил происходящему. Ребята из редакции выручили нас. Они заставили нового редактора взять нас снова в газету. Но с первого дня в редакции мы вдвоем почувствовали себя чужими».

Наровчатов написал о тех днях цикл стихотворений: «В те годы», «Отступление» («Из Трубчевска беженцы бежали большаком, проселками, стернею...»), «Осень», «В кольце», «Облака кричат» («По земле поземкой жаркий чад. Стонет небо, стон проходит небом!»), «Письмо о письме» («И снова над Ливнами рушатся ливни, звонкие, майские, рвутся в строку...»).

Кто-то из друзей, встретив его в Москве проездом с фронта в Иваново, куда он был направлен на курсы журналистов при Ивановском военно-политическом училище, отметил, что Наровчатов после Брянского фронта сильно изменился — стал молчаливым, суровым, сильно выпивал...

4

Еще находясь под Орлом, Наровчатов пытается установить почтовую связь с Ольгой Берггольц.

С Ольгой Берггольц он познакомился в июне 1940 года, когда отправился в скитания по Крыму. Ему — двадцать один, ей — тридцать. Увидел и по-юношески неистово влюбился. Вспоминал мгновение их встречи в Коктебеле у дома Волопина: «У незнакомки были светло-льняные волосы, показавшиеся мне выгоревшими, но лицо ее еще не тронул южный загар, и, значит, она привезла их такими с севера. И уж, конечно, с севера привезла она свои глаза, тоже лен, но не желтый, голубой. Впрочем, это было впечатлением лишь от цвета глаз, а так они были прозрачны до самого дна. Взгляд их был прям, обнажен и бесстрашен до отчаяния».

Что тут можно сказать? После этих слов... Разве что как в старых романах: с этой минуты они полюбили друг друга.

Наровчатов, правда, уточнит: «Знакомство, начавшееся под репродуктором, сообщавшим: “Немецкие войска пошли в Париж”».

Она — уже сложившийся поэт и женщина с прошлым. Первая жена Бориса Корнилова, расстрелянного НКВД в 1938 году «за участие в заговоре против Кирова», и снова замужем — за литературоведом Николаем Молчановым. Из *прошлого*: в том же 1938 году была арестована по «делу Авербаха». Известно, как добывались «признания» в камерах «Шпалерки» — внутренней тюрьмы «Большого дома». Ольга была беременна от Николая Молчанова, на шестом месяце, и во время допросов потеряла ребенка. Попала в тюремный лазарет. После лазарета ее отпустили.

До встречи с Наровчатовым Берггольц пережила смерть дочерей: годовалой Майи (1934) и Ирины (1936), родившейся в первом браке от поэта Бориса Корнилова.

Двух детей схоронила
Я на воле сама.
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма...

Больше она не родит. Каждая новая беременность как будто по чудовищному коду будет прерываться на шестом месяце выкидышем. После освобождения в 1939 году она записала в дневнике: «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!»

Сергей Наровчатов летом 1940 года в Коктебеле встретил ее опустошенной, с вытоптанной душой.

Наровчатов: «Зимой 1942 года из-под Ливен я послал на удачу письмо в блокированный Ленинград. В него я вложил стихи, написанные незадолго перед тем.

Запоминал над деревнями пламя
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

Все это было о действительно пережитом нами, когда мы вместе с Михаилом Лукониным выходили из окружения Брянскими лесами. Письмо пересекло блокаду — чудо, но это так! — и я получил ответ, положивший начало переписке».

«*Действ. армия. 25/IV — 42 г.*

Оленька!

Писал тебе. Получила ли ты мою открытку? Я седьмой месяц на фронте. Видел столько, что на 20 лет вперед хватит. Вот один месяц из прожитых мной:

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казенных городов,
Сквозь черный плен земли своей родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал: над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

Запоминал: как грабили, как били,
Глумились как, громили второпях,
Как наши семьи в рабство уводили,
И наши книги жгли на площадях.

И был разор.
И все бесчинства метил
Паучий извивающийся знак.
И виселицы высились.
И дети
Повешенных старели на глазах.

Старухи застывали на порогах
И вглядывались, темны и строги, —
Российские исконные дороги
Немецкие топтали сапоги.

В своей печали древним песням равный,
Я села, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати!
Свете мой безмерный!
Которой местью мстить мне за тебя?!

Все написанное здесь — сам видел и пережил. Немцев, мало сказать — ненавижу, когда думаю или говорю о них, пятки трясутся от злобы. Я их трижды ненавижу — как русский, как коммунист и как человек.

Вместе со мной с первых дней войны мой старый товарищ — Михаил Луконин, человек смелости безупречной и прекрасного и возвышенного образа мыслей, как выразились бы наши прадеды. Из серьезных боев, которые я прошел, назову бои под Брянском и под Ельцом.

Тебя я помню и люблю неизменно. Помню тебя —

Где солнце в полнеба, где воздух как брага,
Где врезались в солнце зубцы Кара-Дага,
Где море легендой Гомеровой брошено
Ковром киммерийским у дома Волошина.

Милое твое лицо и сейчас передо мной. Сколько я хорошего у тебя взял, Оленька!
Большая война идет. Россию отстаиваем, коммунизм утверждаем... Мы победим, во что бы то ни стало. В войне с саламандрами победят люди. Тогда мы снова вернемся в свои освещенные праздничные города и... тогда мы встретимся, Оленька, и многое-премногое расскажем друг другу.

Пиши мне. Я знаю, как трудно вам в осажденном городе. Но ленинградцы становятся легендой, и о вас уже сейчас слагают песни. Я верю и знаю свою Ольгу. Оставайся такой же, какой я тебя знал, моя чудесная. Целую тебя горячо.

Сергей».

В это время в блокадном Ленинграде Берггольц писала поэму «Февральский дневник». По всей вероятности, поэма и то, что Берггольц той же весной 1942 года привезла рукопись поэмы в Москву и передала ее родителям Наровчатова, опасаясь, что из Ленинграда объемное письмо до адресата не дойдет, стало ответом и началом того трогательного почтового романа, который будет длиться тридцать лет. И для него и для нее эти письма станут той тайной свободой и параллельной жизнью, в которой они, окруженные киммерийскими скалами и водами, будут вечно юны, здоровы, красивы и полны надежд на прекрасное будущее.

«29/IV-42 г.

Оленька!

Твое письмо потрясло меня. Земной поклон тебе и твоему Городу. Мне трудно писать — так ошеломлен тобой. Знаешь ли сама — что ты? Ты снова уехала туда. Я руку закусил, когда прочел, в глазах темно стало. И все-таки это правильно, справедливо. Красивая ты моя!

Сейчас что ни день — то лист из книги Бытия. Вся мера древнего горя испытали мы и прибавили к нему свое. Я проходил, скрипя зубами, мимо сожженных сел, казненных городов... Здесь нет ни одной строки заживо не виденной, не пережитой. В октябре прошлого я вспоминал себя в предках времен “Слова” и набега Батыева. В селе Хатунь, где немцы перебили все население, 312 человек, от грудных младенцев до стариков только за то, что они русские (об этом было в газетах), где они распяли, да, распяли учительницу и где смерть миновала меня с Лукониным чудом необъяснимым, я узнал настоящее горе и настоящую ненависть.

Что мне сказать о себе сейчас — я живу, я работаю, я на войне, я в партии.

О смерти мужа — знаю, что все слова сочувствия будут легковесны и не нужны. Если б мы встретились — я целовал тебя и промолчал бы с тобой ночь. Одно скажу — жалею тебя, Оленька, всем своим сердцем.

Я рад, что ты была у родителей и вы понравились друг другу. Они действительно очень хорошие и простые люди и любят меня не меньше, чем я их. Они написали мне, что ты была у них, и добрыми словами говорили о тебе. Я действительно женился, и у меня недавно родилась дочь. Ее назвали Ольгой. Последние дни в ушах звенит одна старая песенка, которую ты как-то напевала мне. “Трансваль” — она сейчас снова живет, простенькая и горестная.

Сейчас трудно писать о своем — происходящее таково, что вся наша жизнь и жизнь нескольких поколений после нас будет определяться им. Больше этого, что мы узнали за год и узнаем еще в предстоящие год-два, — на наших глазах не произойдет...

Я хочу, чтобы ты писала мне. Я люблю тебя, Оля. Люблю. Жду твоих писем. Целую тебя.

Сергей».

Письмо на этом не обрывается. Словно не в силах разъять рук, Наровчатов делает приписку: «Я послал письмо и открытку по твоему старому адресу — мама мне его выслала, — т.к. записную книжку я потерял в одной из передраг, со мной случившихся. Письма эти, наверно, не дошли. Поздравляю тебя с праздником нашим — 1-м Мая!

Адрес — Действ. армия. 442 полевая почта. Редакция газеты «Сын Родины». Мне».

Из «Февральского дневника» Ольги Берггольц:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Таковыми мы счастливыми бывали,
Такой свободой дикою дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

О да, мы счастье страшное открыли.
Оно другим неведомо пока,
Когда последней коркою делились,
Последнею щепоткой табака:

Когда вели полночные беседы
У бедного и дымного огня,
Как будем жить, когда придет Победа,
Всю нашу жизнь по-новому цена.

В блокадном Ленинграде Берггольц работала в Доме радио. Три с лишним года ее голос почти ежедневно звучал в эфире, помогая живым ленинградцам преодолеть тяжкое испытание голодом и холодом: «Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна! У микрофона Ольга Берггольц!»

После снятия блокады Наровчатов навестил ее в Ленинграде. Привез чемодан с продуктами. И увидел, что она не одна и, кажется, счастлива. Ее новым мужем был Юрий Макогоненко, журналист, вместе с ней работавший в Доме радио.

Но почтовый роман продолжился до 70-х, когда они уже постарели, но продолжали жить своей юностью, молодостью и... войной.

«15/VIII-42 г.

Оля!

Хочу поговорить с тобой. Я тебе писал, но неожиданно для себя я переменял адрес, и ответных строк от тебя я не дождался. А мне хочется поговорить с тобой. Твое апрельское письмо — со мной: это самое сильное из твоих стихотворений. «Февральский дневник» по-настоящему хорош, и я видел, какое впечатление он производит на самых простых людей, и переживал, и радовался за него, как за свои стихи. Но письмо твое — это бессонные ночи, недели, или не помню сколько — поэтому я так о нем говорю. Я многое хочу сказать тебе, но мысли смешиваются — всегда, когда слишком долго не виделись и не говорили, трудно выбрать главное и необходимое.

Я знаю, тебя интересует, что я и как? И хоть я сам не считаю это тем, с чего следовало бы начать разговор, я вкратце расскажу тебе все, что произошло со мной за последние месяцы.

Я работал литсотрудником армейской газеты на Брянском фронте. Осенью прошлой я прошел через одно серьезное испытание, зимой же на нашем фронте было относительно спокойно, исключая действий отдельных отрядов, я работал в меру сил и вряд ли в меру способностей и целиком ушел в армейские будни со всеми их горестями и радостями. В начале мая я был по разверстке Главпука командирован на курсы усовершенствования газетных работников в Иваново, пробыл в этом городе два месяца, много читал за это время, отдохнул от корреспондентской <...>

несколько рассеялся <...> был срочно вызван в Москву за новым назначением. Я прожил в Москве 10 дней, безудержно радовался ей, радовался маме. Впервые увидел дочь, родившуюся без меня. Ее называли Ольгой. У нее синие глаза, как у меня. Родные мои живут бедно и трудно — они хорошо помнят тебя и еще лучше говорят о тебе.

Назначение я получил на Север; придет время, и я в числе первых войду в твой город. Верю в это.

Работы пока немного — в газете мы занимаемся описаниями боевой учебы, а это не самое трудное в профессии военного журналиста. Стихи я пишу редко, и большей частью они мне кажутся слишком бедными, недостаточными. Хорошо ли это? Вряд ли. Вот все или почти все, что следовало бы сказать о себе.

Сейчас, в дни самых тяжелых испытаний для России, в самые трудные ее дни, мне хочется сказать тебе, что я еще сильнее верю в то, во что всегда верил, — в свободу, в счастье людское, в страну свою. Я хочу сейчас услышать и почувствовать с тобой рядом тех, кого я любил и в кого я верил, и кто дарил меня тем же. Тебя я любил и продолжаю любить, тебе я верил и верю, я помню тебя все время и я хочу говорить с тобой. Напиши мне. Целую тебя, Оля. Жду письма.

Сергей.

Адрес: Действ. армия. 1571 полевая почта. Редакция газеты «Отвага» — мне. Оля, милая! Страшно жду письма. Скорее пиши его».

Вряд ли стоит комментировать эти письма. И все же...

Наровчатову двадцать два года. Юноша! Влюбился в зрелую женщину, которая после пережитого, нуждается в том, чтобы рядом каждый день, каждый час был кто-то, кто может защитить, пожалеть, приласкать. А тот солнечный удар, случившийся летом 1940 года в Коктебеле — это как минутная радуга после бури...

Но ему-то, двадцатидвухлетнему, она все еще сияла!

Лев Озеров писал о Наровчатове довоенном: «Любимец девушек. Готовый викинг или законченный скальд без грима (вызывало удивление, что он не снимается в кино), он был отчаянно романтичен и в душевных движениях своих».

Первой его женой и матерью дочери Ольги была Нина Воркунова. Он встретил ее в ИФЛИ, она была студенткой. Влюбился, женился, от этой взаимной любви родилась дочь.

5

После учебы в Иванове в шинели с нашивками старшего политрука Наровчатов прибывает на Волховский фронт во 2-ю ударную армию. К счастью, не попадает в то чудовищное окружение в районе Мясного бора, где сгинули тысячи, брошенные своим командующим — генералом Власовым. Вскоре командующим 2-й ударной армией Ставка назначила генерала И.И. Федюнинского, который доведет свою армию до Победы.

Наровчатов комиссарские нашивки сменил на лейтенантские погоны. Май 45-го встретит в звании капитана. Но до мая 45-го надо было еще пройти ленинградские леса и болота, форсировать большие и малые реки, потом с такими же боями — Эстонию, Восточную Пруссию. В январе 1944-го он писал корреспонденции и боевые сводки для армейской газеты из траншей первой линии Ораниенбаумского плацдарма. Затем участвовал в прорыве на Ропшу, в боях за Нарву. Был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги».

Как журналист и офицер участвовал в торжественной встрече с союзниками на Эльбе.

Из армии уволился в 1946 году.

После демобилизации занялся литературой. Но вначале, чтобы иметь заработок, работал в различных московских газетах. Потом в аппарате ЦК ВЛКСМ.

Тема войны — основная, на ней держатся первые поэтические сборники «Костер» и «Солдаты свободы». Сразу же вошел в обойму поэтов фронтового поколения. Интимная лирика пробивается сквозь шинельное сукно сурового солдата и идет параллельно с военными мотивами. Лирическую глубину и гражданственность поэзии Наровчатова замечает А. Фадеев и поддерживает поэта.

Первый поэтический сборник окрылил его. Дочь Ольга Сергеевна вспоминает такой случай: «Он всегда-то стремительно ходил, а тут — просто летел по Москве: в кармане у него лежал первый в жизни сборник его стихов. Он пронесился по бульварам в центре и вдруг услышал довольно грубый окрик: “Ваши документы!” Отец продолжал свой почти полет, не отнеся это к себе, как вдруг его схватили за плечо и круто развернули. Перед ним стоял запыхавшийся милиционер. Как выяснилось, он принял отца не за бегущего, а за убегающего. Бдительность подсказала ему, что у человека с чистой совестью не должна быть такая странная походка. Прямых улик не было, но подозрение подкрепилось растерянностью отца и полным отсутствием документов. И вдруг отца осенило: он вынимает из кармана книжку стихов, сует милиционеру под нос и говорит: “Видите, вот книжка. Это моя книжка”. Милиционер: “Разве я ее у вас отнимаю?” Отец: “Да нет. Я сам ее написал, и вот моя фамилия. Видите — Наровчатов, это вам вместо документа”. Милиционер недоверчиво берет книжку стихов, вертит ее и вдруг внезапно и его осенило. Он коварно спрашивает: “А чем вы можете доказать, что это вы ее написали?” И отец нашелся. Он попросил милиционера поиграть в такую игру: милиционер будет начинать любое стихотворение с любой строчки и внезапно обрывать, а отец должен продолжать».

Одновременно у поэта не утихает страсть к путешествиям. И это становится еще одной темой. Дальний Восток, Курилы, Колыма, Чукотка, Тихий и Ледовитый океаны. И снова — Крым, Коктебель, Киммерия. Одновременно он погружается в мир любимых писателей и поэтов.

Однажды, еще в довоенном мире, поэт приехал в Старый Крым, побывал на могиле Александра Грина, а потом побрел к дому писателя, где в то время жила вдова и муза автора «Алых парусов» Нина Николаевна. По дороге вдруг обнаружил, что штiblеты его совсем износились. Позади были проселочные дороги Крыма, Феодосия, Судак. Так он и предстал пред очами Нины Николаевны — загорелый голубоглазый юноша с обветренным лицом, почти босой. Она накормила молодого поэта и на прощание вынесла старые, но еще вполне добротные ботинки Александра Грина. Видимо, в этих старомодных, но знаменитых ботинках он и познакомился с Ольгой Берггольц. Потому что от Грина он пошел к Волошину.

Берггольц он полюбил так, что потом, когда все схлынуло, признался одному из своих близких друзей: «Я тогда, наконец, понял, почему люди стреляются... из-за страсти».

Берггольц его страсть не разделила. Быть может, потому, что в нем она, женщина с прошлым, увидела слишком много юношеского, почти мальчишеского, восторженного, что не хотела разрушать семью, в которой уже появился ребенок. Свое смятение поэт выразил в 1944 году в стихотворении «Фронтная ночь». Стреляться не стал, но портрет Оленьки... расстрелял вдребезги.

Лев Озеров: «Из-за его спины могли показаться китобои, скалолазы, полярники. Неведомо было, когда он успевал побывать и там, и тут, и одновременно вести в дом две стопки новых книг, и прежде чем наброситься на них, аккуратно и

любовно внести их в картотеку, как приличествует настоящему библиофилу. Это совмещение скитальца и воина, человека маршевого, биваяного типа с книжником, полуночником, склонившимся над очередным фолиантом, представляется уникальным. В короткие промежутки между войнами, в эти бойцовские перебежки Сергей Наровчатов, равно как и его сверстники, успевал заметно и решительно продвигаться в науках, в познании мира, в творчестве. Культурно-исторический кругозор этого ратника можно назвать завидным. Находясь на полях сражений, он одновременно умудрялся исходить вдоль и поперек поля российской (да и не только российской) словесности от “Слова о полку Игореве” до Блока... <...> Многие сверстники Наровчатова по окончании войны психологически остались на ней, в ней, остановились в своем окопном положении, не смогли естественно перейти к будням мирного существования. Наровчатов навсегда остался верен делам и друзьям военной поры, но он одним из первых в нашей поэзии сделал решительный шаг из эпохи в эпоху, сделал его в момент, “когда нам приказали снять шинели, не оставляя линии огня!”»

В поэте ожила, загудела колоколами русская история. Появились эпические произведения — поэмы о Василии Буслаеве и Семене Дежневе.

В 1959 году появляется одно из лучших стихотворений поэта «Пес, девочка и поэт». В 1970-х годах пошла проза. Рассказы «Абсолют», «Диспут», «Ведьмы».

С 1971 года Наровчатов — секретарь Союза писателей СССР и одновременно первый секретарь Московского отделения СП РСФСР. Все чаще его называют Сергеем Сергеевичем.

Занимался литературоведением и в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Живые традиции советской поэзии».

В 1973 году подписал письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» с осуждением Солженицына и Сахарова.

С 1974 по 1981 год — главный редактор журнала «Новый мир».

В конце жизни написал итоговую поэму «Фронтальная радуга». «Фронтальная радуга» — возвращение к своей фронтальной юности и товарищам, — Николаю Майорову, Михаилу Кульчицкому, Георгию Суворову, Павлу Когану...

Любил перечитывать Сергея Есенина, Максимилиана Волошина, Александра Грина. Но подлинной любовью был Лермонтов. Еще в 1964 году вышло его эссе «Лирика Лермонтова. Заметки поэта».

Путешествия... История... «Я никогда не приму четыре стены своей комнаты за четыре стороны света, иначе моя молодость постучится мне в окно и напомнит о других просторах».

Так и случилось. Сергей Сергеевич Наровчатов, как утверждают некоторые его биографы, умер в Коктебеле в 1981 году. Он вернулся в свою юность.

Поэт о таком месте своего последнего вздоха может только мечтать.

ФРОНТОВАЯ НОЧЬ

На пополнение наш полк отведен,
И, путаясь в километрах,
Мы третьи сутки походом идем,
Кочуем — двести бессмертных.

За отдыха час полжизни отдашь!
Но вот ради пешего подвига
Офицерам полковник дарит блиндаж,
Бойцам — всю рощу для отдыха.

Спать!
Но тут из-под дряхлых нар,
Сон отдав за игру, на
Стол бросает колоду карт
Веселая наша фортуна.

Кто их забыл второпях и вдруг,
В разгаре какой погони?..
Что нам с того!
Мы стола вокруг
Тесней сдвигаем погоны.

И я, зажав «Беломор» в зубах,
Встаю среди гама и чада.
Сегодня удача держит банк,
Играет в очко Наровчатов.

Атласные карты в руках горят,
Партнеры ширят глаза.
Четвертый раз ложатся подряд
Два выигрышных туза.

И снова дрожащие руки вокруг
По карманам пустеющим тычутся,
Круг подходит к концу.
Стук!
Полных четыре тысячи!

Но что это?
Тонкие брови вразлет.
Яркий, капризный, упрямый,
На тысячу губ раздаренный рот.
— Ты здесь, крестовая дама?

Как ты сюда?
Почему?
Зачем?
Жила б, коли жить назначено,
На Большом Комсомольском, 4/7.
Во славу стиха незрячего.

Я фото твое расстрелял со зла,
Я в атаку ходил без портрета,
А нынче, притихший, пялю глаза
На карту случайную эту.

Где ты теперь?
С какими судьбой
Тузами тебя растасовывает?
Кто козыряет сейчас с тобой,
Краса ты моя крестовая?!

Но кончим лирический разговор...
На даму выиграть пробуешь?
Король, семерка, туз...
Перебор!
Мне повезло на проигрыш.

Я рад бы все просадить дотла
На злодейку из дальнего тыла...
Неужто примета не соврала,
Неужто вновь полюбила?

Я верю приметам, башку очертя,
Я суверен не в меру,
Но эту примету — ко всем чертям!
Хоть вешайте, не поверю...

Ночь на исходе.
Гаснет игра.
Рассвет занимается серый.
Лица тускнеют.
В путь пора,
Товарищи офицеры!

На пополнение наш полк отведен,
И, путаясь в километрах,
Четвертый день мы походом идем,
Кочуем — двести бессмертных.

Апрель 1944, под Нарвой.

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

Рука с размаху письма четвертует,
Где адрес нашей почты полевой,
А строки, как в покойницкой, горюют
И плачут над пропавшей головой.

Что мне ответить, раз по всем законам
Я не дожил до нынешнего дня,
Родным, друзьям, подругам и знакомым,
Похоронившим заживо меня?

По мне три раза панихиды пели,
Но трижды я из мертвых восставал.
Знать, душу, чтоб держалась крепче в теле,
Всевышний мне гвоздями прибывал.

На мой аршин полмиллиона мерьте —
У нас в крови один и тот же сплав,
Нас несть числа, попавших в лапы смерти
И выживших, ей когти обломав.

Мы в чащах партизанили по году,
По госпиталям мыкались в бреду,
Вставали вновь и шли в огонь и в воду
По нарвскому расхлестанному льду.

Я всех пропавших помню поименно, —
Их имена зарницами вдали
Незнаемые режут небосклоны
На всех концах взбунтованной земли.

И день придет.
Пропавшие без вести
На пир земной сойдясь со всех сторон,
Как равные, осушат чашу мести
На близкой тризне вражьих похорон!

У этого стихотворения есть и восьмая строфа.

Я верю: невозможное случится,
Я чарку подниму еще за то,
Что объявился лейтенант Кульчицкий
В поручиках у маршала Титт.

По всей вероятности из этого стихотворения, написанного в мае 1944 года на Нарвском плацдарме, строфа с именем боевого друга и поэта Михаила Кульчицкого была изъята потому, что рядом было имя маршала Тито. А имя Тито с некоторых пор было изъято отовсюду.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Костер. Стихи. — М.: Московский рабочий, 1948.
Солдаты свободы. Стихи. — М.: Молодая гвардия, 1952.
Горькая любовь. — М., 1957.
Северные звезды. — Магадан, 1957.
Взыскательный путник. Стихи. — М., 1963.
Лирика Лермонтова. — М., 1964; 2-е изд. 1970.
Четверть века. — М.: Молодая гвардия, 1965.
Поэзия в движении. Статьи. — М., 1966.
Василий Буслаев. Поэма. — Магадан, 1967.
Через войну. — М., 1968.
Полдень. — М., 1969.
Узор на клинке. — М., 1971.
Атлантида рядом с тобой. — М., 1972.
Дальний путь. — М., 1973.
Живая река. — М., 1974.
Знамя над высотой. — М., 1974.
Берега времени. — М., 1976.
Мы входим в жизнь. Воспоминания. — М., 1978; 2-е изд. 1980.
Ширь. — М., 1979.
Необычное литературоведение. — М., 1970; 2-е изд. 1973; 3-е изд. 1981.
Собрание сочинений в трех томах. — М.: Художественная литература, 1977–1978.
Избранные произведения в двух томах. — М.: Художественная литература, 1972.
Стихотворения и поэмы. — Л.: Советский писатель, 1985. (Б-ка поэта. Большая серия).
Избранные произведения в двух томах. — М.: Художественная литература, 1988.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

Герой Социалистического Труда (1979).

Два ордена Ленина (1971; 1979).

Орден Отечественной войны 2-й степени.

Орден Трудового Красного Знамени (1967).

Орден Красной Звезды (1944).

Медаль «За боевые заслуга» (1943).

Медаль «За оборону Москвы».

Медаль «За оборону Ленинграда».

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Государственная премия РСФСР им. М. Горького (1974) — за поэму «Василий Буслаев» (1967).

Глава четырнадцатая

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

«ПОЙ, ГАРМОНИКА, ВЬЮГЕ НАЗЛО...»

1

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Эти стихи, вскоре ставшие фронтовой песней, согревавшей сердца миллионов солдат, были написаны под Москвой в конце ноября 1941 года в расположении 22-го гвардейского полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии. Написаны действительно в землянке, после боя.

Великая Отечественная война дала великую же поэзию. И «бьется в тесной печурке огонь...» («В землянке») по праву является одним из шедевров. И стихи, и песня абсолютно равновелики.

Автор стихотворения «В землянке» — Алексей Александрович Сурков. Мелодию написал композитор Константин Листов.



Алексей Сурков

Будущий поэт родился 1 октября 1899 года в деревне Середнево Георгиевской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии² в крестьянской семье. Предками его были крестьяне дворян Михалковых.³ Окончил Середневскую школу. Двенадцати лет от роду Алешу отдали «в люди», в услужение, в Санкт-Петербург. Работал учеником в мебельном магазине, мастером в столярных мастерских, в типографии, в конторе, весовщиком в Петроградском торговом порту.

Стихи писать начал рано. Первое стихотворение опубликовал в 1918 году в петроградской «Красной газете». Под стихами стояла подпись: «А. Гутуевский».

Стихия коренного переустройства страны, начавшаяся с победой большевиков, захватила его и ту рабочую, пролетарскую среду, в которой Сурков пребывал. В 1918 году Алексей добровольцем вступил в Красную Армию и отправился на фронт гражданской войны — защищать народную власть.

От крови в ржавчине клинки,
От пены — удила.
Нас Кремль не зря с Москвы-реки
На Тихий Дон послал.

Не просто с ветром погулять
Пришли в степной простор:
За урожайные поля,
За пядь земли,
За пуд угля
Ведем кровавый спор.

До моря кровью метим след
Под злой сполошный звон.
И красим,
Красим в красный цвет
Седой казачий Дон.

Пулеметчик, конный разведчик. Северо-Западный фронт, Польский поход. Гражданская война для Суркова закончилась на Тамбовщине — участвовал в подавлении Антоновского мятежа. То ли мятежа, то ли крестьянского восстания...

В Красной Армии Сурков карьеры не сделал. Война вымотала нервы. Потянуло на родину, в деревню, в тишину.

В начале 1920-х работал избачом. Изба-читальня находилась в соседнем селе Волкове. Дорога от родной деревни до села лежала среди хлебов и перелесков. Душа наполнялась тихими мелодиями милой родины. Они-то и выливались потом в лирические стихи.

² Ныне Рыбинский район Ярославской области.

³ Предки поэта Сергея Владимировича Михалкова.

Грамотные люди на селе ценились. Вскоре Алексея пригласили на работу секретарем волисполкома. Власть! Выше его в волости был только председатель. Писал в уездную газету. Вскоре стал селькором. Вперемешку с заметками о сельской жизни слagal стихи. Уездная газета с удовольствием печатала и то, и другое. Читатели земляки радовались: появился свой поэт!

В 1924 году стихотворения Суркова опубликовала газета «Правда». Начинаясь новый период творчества.

В 1925 году вступил в ряды ВКП (б). Осенью того же года его делегировали на I-й Губернский съезд пролетарских писателей.

В те бурные годы, в эпоху строительства нового государства, даже на селе жизнь развивалась стремительно. С 1924 года по 1926-й Алексей руководил Рыбинской комсомольской организацией. А когда была создана губернская газета «Северный комсомолец», молодой поэт сразу же начал сотрудничать с ней. Сначала на страницах новой молодежи появились его стихи и корреспонденции, а вскоре он был назначен главным редактором «Северного комсомольца».

На этом посту Алексей Сурков развернулся во всю мощь. Газета мгновенно ожила, стала интересной. Тираж увеличился вдвое. Вместо одного раза в неделю она стала выходить дважды. Появилась рубрика «Литературный уголок», печатались стихи и рассказы читателей. В «Северный комсомолец» потянулась литературная молодежь, и вскоре при редакции Сурков создал литературную группу. Сам же ею и руководил.

Наступил 1928 год, который в жизни советских писателей, особенно молодых, изменил многое. В мае в Москве состоялся I-й Всесоюзный съезд пролетарских писателей. В работе съезда Сурков принял участие как делегат от ярославских литераторов. Энергичного, талантливого, партийного, его оставили в Москве в только что созданном аппарате Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП).

Через два года Суркова направили на учебу. В 1934 году он успешно окончил литературный факультет Института красной профессуры и тут же защитил диссертацию.

В 1934–1939 годах преподавал в Редакционно-издательском институте и одновременно в Литературном институте Союза писателей СССР. В те годы при Литинституте существовал журнал «Литературная учеба», в нем печатались молодые литераторы, студенты Литинститута и московских вузов. Журналом руководил сам Максим Горький. Сурков редактировал часть поступающей корреспонденции, правил рукописи, предназначенные в печать, выступал с критическими заметками, статьями и обзорами.

Суркова не оставляла тема войны. Поэтому в своих статьях он часто выступал по темам военной поэзии и военной песни. Он был одним из создателей Литературного объединения Красной Армии и Флота.

Тридцатые годы стали расцветом творчества Суркова. Одна за другой выходят его поэтические книги «Запев», «Последняя война», «Путем песни», «Так мы росли».

В стихах преобладала социальная, пролетарская тема. Это было нужно партии и стране. Это цементировало общество, которое строило, созидало. Лично для Суркова это открывало многие двери...

Но поэт всегда видит шире и глубже. Вот стихотворение, над которым Сурков работал в 1934–35 годах, оно называется «Атака».

Серые сумерки моросили свинцом,
Ухали пушки глухо и тяжко.
Прапорщик с позеленевшим лицом
Вырвал из ножен ржавую шашку.

Прапорщик хрипло крикнул:
— За мной! —
И, спотыкаясь, влобоборота,
Над загражденьями зыбкой стеной
Выросла, воя, первая рота.
Чтобы заткнуть этот воющий рот,
С неба упали ливни шрапнели.
Смертная оторопь мчала вперед
Мокрые комья серых шинелей.
Черные пропасти волчьих ям
Жадно глотали парное мясо.
Спереди, сзади и по краям
Землю фонтанили взрывы фугасов.
И у последнего рубежа
Наперерез цепям поределым,
В нервной истерике дробно дрожа,
Сто пулеметов вступили в дело.
Взрывом по пояс в землю врыт,
Посреди несвязного гама,
Прапорщик тонко кричит навзрыд:
— Мама!.. Меня убивают, мама...
Мамочка-а-а... —
И не успел досказать.
И утонул в пулеметном визге.
Огненный смерч относил назад
Ключья расстрелянных в лоб дивизий.

Стихотворение вполне могло назваться иначе. К примеру — «Прапорщик». И кто мог бы быть автором? Иван Савин... Арсений Несмелов... Или еще кто-нибудь из бывших белогвардейцев, переживших Дон, бои под Царицыном, Ледяной поход. Этого храброго прапорщика «с позеленевшим лицом» красноармеец Сурков наверняка видел в прорезь прицела где-нибудь в донской степи, и не вырвать было его из памяти, пока не написалось стихотворение...

Гражданская война — это не просто война.

Правда, тогда они, герои гражданской, еще и не предполагали, что впереди их ждет более страшная страда.

3

Личная жизнь вскоре тоже устроилась. Москва — хорошее место для этой цели. Сурков женился на Софье Антоновне Кревс. Познакомился с нею на одном из литературных вечеров, которые тогда шумели по всей Москве и собирали толпы молодежи. Родились дети: сын Алексей, 1928 г.р., и дочь Наталья, 1938 г.р. В дальнейшем сын выберет профессию военного, дослужится до инженер-полковника ВВС. Наталья станет журналистом, будет заниматься музыковедением. Многое будет делать для увековечения памяти отца после его ухода из жизни.

В конце 1930-х и на Востоке, и на Западе явственно запахло порохом. Японцы захватили обширные материковые земли в Маньчжурии на границе с нашим Забайкальем. Гитлер силой и хитрой дипломатией кнута и пряника подгрел под свою руку Европу.

Старый солдат, Сурков не мог оставаться в стороне от этих грозных событий. Участвовал в походе в Западную Белоруссию. Когда началась Зимняя война с Финляндией, в качестве военного корреспондента армейской газеты «Героический поход» отбыл из Москвы на фронт. После войны Сурков написал книгу «Декабрьский дневник».

На Зимнюю войну военкорами и солдатами ушли добровольцами многие писатели. Кто-то не вернулся. Впоследствии об этой войне рассказали ее участники Геннадий Фиш, Михаил Дудин, Николай Чуковский, Сергей Наровчатов, Леонид Соболев, Александр Твардовский. Погибли в бою поэты Николай Отрада и Арон Кошштейн. На всякой войне поэты гибнут первыми...

В 1940-1941 годах Сурков был главным редактором журнала «Новый мир».

В это время по Всесоюзному радио широко звучат песни на его стихи.

И вот началась новая война...

4

После трудного лета 1941 года Верховному доложили, что на фронте очень много гибнет ученых, писателей, преподавателей университетов и институтов. На фронт они ушли добровольцами, как правило, в дивизиях народного ополчения, рядовыми бойцами или младшими командирами. Гражданский и патриотический дух этих людей был высок, желание драться с врагом были искренним и сильным, но воинская выучка, умение держать в руках оружие не всегда дотягивали до первого и второго. И Сталин приказал отозвать с фронта ученых, а писателей, поэтов распределили по редакциям газет. Гибли и военные корреспонденты из писательской роты. Евгений Петров, Аркадий Гайдар...

Всю войну Алексей Сурков был военным корреспондентом газет «Красноармейская правда» и «Красная звезда». В действующей армии на фронте с первых дней. В 1943 году получил погоны подполковника. Военная форма 44-летнему подполковнику шла — худощавый, стройный, с сухим обветренным лицом. Внешне он сильно походил на окопного комбата.

Летом 1941 года в Белоруссии Сурков, собирая материал для фронтовой газеты «Красноармейская правда», прибыл в одну из стрелковых дивизий. Ему дали почитать политдонесение, поступившее из 410-го полка, только что вышедшего из окружения.

...Боец Иван Пашков был отправлен в разведку. Во время поиска попал в засаду. Немцы кинулись на него из зарослей кустарника, выбили из рук винтовку, скрутили и повели к своему командиру. Ни на один вопрос немецкого офицера Иван Пашков не дал ответа. Тогда его вывели на поляну, дали лопату и приказали копать могилу...

Сурков читал политдонесение, к которому прилагалось донесение самого разведчика Пашкова, и мгновенно понял, что попало ему в руки.

БАЛЛАДА О РАЗВЕДЧИКЕ ИВАНЕ ПАШКОВЕ

Видно, был я в тот вечер в разведке плох,
Видно, хитростью я ослаб.
Заманили в засаду, взяли врасплох,
Притащили к начальству, в штаб.
Парабеллум приставили мне к виску.
— Говори, — кричат, — не крути.
Сколько красных в лесу?
— Как в море песку!
— Сколько пушек?
— Сходи, сочти!
Тут начальник, в сердцах, раскрыл мне бровь,
Приказал щекотать штыком.
— Отвечай на вопросы, собачья кровь!
Не прикидывайся дураком!

В трех соснах, говорит, подлец, не кружись,
Отвечай, подлец, не грубя.
Скажешь правду — в награду получишь жизнь,
Утаишь — пеняй на себя.
Если бьют тебя наотмашь — боль сильна.
Это надо, браток, понять.
Я прикинул в уме — дорога цена!
И решил на себя пенять.
Рвали руки — и раз, и другой, и пять.
Били в спину и по плечу.
Мне о всем, понимаешь, жуть вспоминать.
Вспоминать о том не хочу.
Видит главный — пытка меня не берет.
Разорвал протокол со зла.
Дали в руки лопату — топай вперед!
Повели меня из села.
Сам себе я взбивал земляную постель,
И меня торопил приклад.
Для неважных стрелков хорошая цель —
Безоружный красный солдат.
Разомкнули они у могилы кольцо.
Бить в упор — не большая честь!
Сколько вспышек ударило мне в лицо,
Я не мог, понимаешь, счесть.
В грудь толкнуло, наземь упал ничком.
Под рубахой жжет горячо.
Офицер подошел, ударил носком,
Сверху пульей кольнул в плечо.
Я лежу, не дышу, мертвяк мертвяком.
Порешили, что амба мне.
Застучали лопаты. Глиняный ком
Холодком прошел по спине.
Закопали меня и ушли в село.
Тяжким грузом сдавило грудь.
Шевельнул ногами, а ноги свело.
Глиной рот набит — не вздохнуть.
Задохнуться в могиле какая сласть?
Стал пытаться я судьбу-каргу.
И откуда вдруг сила во мне взялась,
До сих пор понять не могу.
Повернулся, руками глину разгреб.
Сам себя ощупал — живой!
Под ногами холодный глиняный гроб,
Небо в звездах над головой.
Целовал я сырые комья земли,
Уползая к ребятам, в лес.
В десять тридцать меня враги погребли,
А в одиннадцать я воскрес.
Через день после первых моих похорон
Я про раны свои забыл
И в патронник опять досылал патрон
И могильщиков снова бил.

1941.

Действующая армия.

Но стихи пришли не сразу. Вначале военкор Сурков написал о разведчике Иване Пашкове очерк и опубликовал его во фронтовой газете. Ничего выдумывать не пришлось.

На теле «расстрелянного» военврач в лазарете насчитал четырнадцать штыковых и три огнестрельных ранения. Полтора года залечивали разведчику раны. После госпиталя Иван Пашков снова вернулся в строй. Дошел до Победы.

Летом 1941 года, когда в «Красноармейской правде» появилась баллада о разведчике, боевые товарищи Ивана Пашкова переписывали стихи и выучивали их наизусть.

Что и говорить, поэзии в «Балладе...», может, и немного, но ее строки поднимали дух бойцов, вселяли в них веру в собственные силы, в правоту своего ратного дела.

В 1971 году в редакции «Комсомольской правды» произошла встреча фронтовиков — бывшего разведчика 410-го стрелкового полка Ивана Пашкова и бывшего военного корреспондента фронтовой газеты «Красноармейская правда» Алексея Суркова.

5

А теперь другая история.

О том, как родились стихи для песни «В землянке».

Война всколыхнула самые глубинные силы русского народа, в том числе и творческие. Война оставила много прекрасных песен, которые нынче воспринимаются как народные. Хотя у них есть авторы и слов, и музыки. Но слово «народная» в приложении к таким песням звучит как титул, знак качества наивысшего достоинства. В этом множестве песен, которые до сей поры поются и ветеранами, и молодежью, есть несколько особо ценных. Среди них «Синий платочек», «Катюша», «Валенки» и, конечно же, «В землянке».

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

А здесь уже и высокая поэзия, и глубокая драма войны, и печаль разделенных судеб, и тоска по любимой...

О рождении стихов, а потом и песни ходят легенды.

По одной из них поэт Алексей Сурков вместе со своими боевыми товарищами осенью 41-го выходил из окружения по минному полю. Неверный шаг — и конец... «Тогда он реально ощутил, — пишет один из ярославских биографов Суркова, — что до смерти всего лишь несколько шагов. Когда опасность миновала, вся шинель была посечена осколками. Уже в Москве, — как повествует далее апокриф, — у него родились строки знаменитого стихотворения, отправленного в Чистополь жене. Когда в редакции появился композитор Константин Листов, Алексей Сурков передал ему рукописные строчки, и уже через неделю песню впервые исполнил его друг Михаил Савин».

На самом деле все было, как говорится, так да не так.

Сам поэт вспоминал: «Возникло стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно. Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатным стихотворением. Это были шестнадцать “домашних” строк из письма жене Софье Антоновне. Письмо было написано в конце ноября после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков...»⁴

⁴ История, весьма схожая с судьбой стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

Произошло это 27 ноября 1941 года на участке Западного фронта, который удерживал 258-й полк 9-й гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии. Дивизией командовал генерал А. П. Белобородов. Афанасий Павлантьевич вспоминал: «Враг рвался на восток через Кашино и Дарну по дороге, параллельной Волоколамскому шоссе. Фашистские танки прорвались на дорогу и отрезали штаб полка, располжившийся в деревне Кашино, от батальонов. Надо было прорываться из окружения. Всем штабным работникам пришлось взяться за оружие и гранаты. Стал бойцом и поэт. Смелый, решительный, он рвался в самое пекло боя. Старый, храбрый солдат выдержал боевое испытание с честью, вместе со штабом полка вырвался из вражеского окружения и попал... на минное поле. Это было действительно “до смерти четыре шага”, даже меньше... После всех передраг, промерзший, усталый, в шинели, посеченной осколками, Сурков всю оставшуюся ночь просидел над своим блокнотом в землянке, у солдатской железной печурки. Может быть, тогда и родилась знаменитая его “Землянка” — песня, которая вошла в народную память как неотъемлемый спутник Великой Отечественной войны...»

Бывший пулеметчик и кавалерийский разведчик с нашивками батальонного комиссара вновь лег за пулемет.

«Так бы и остались эти стихи частью письма, — вспоминал поэт, — если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации композитор Константин Листов, назначенный старшим музыкальным консультантом Главного политического управления Военно-Морского Флота. Он пришел в нашу фронтową редакцию и стал просить “что-нибудь, на что можно написать песню”. “Чего-нибудь” не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи уверенным, что хоть я свою товарищескую совесть и очистил, но песня из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Но через неделю композитор вновь появился у нас в редакции, попросил у фотографа Савина гитару и под гитару спел новую свою песню “В землянке”. Все свободные от работы “в номер”, затаив дыхание, прослушали песню. Всем показалось, что песня “вышла”. Листов ушел. А вечером Миша Савин после ужина попросил у меня текст и, аккомпанируя на гитаре, спел новую песню. И сразу стало видно, что песня “пойдет”, если обыкновенный потребитель музыки запомнил мелодию с первого исполнения...»

Во время премьерного исполнения песни в редакции оказался военный корреспондент и писатель Евгений Воробьев. Песня ему понравилась. Он попросил Листова записать ноты. Ноты и слова принес в редакцию «Комсомольской правды», и песню с нотами вскоре опубликовали в «Комсомолке». Но после публикации «на верхих» поджали губы: кое-кому показалось, что в песне есть «упаднические, разоружающие» строки.

«До тебя мне дойти не легко, / А до смерти четыре шага...» Тогда же, в сорок втором, была выпущена грампластинка, но в продажу ее не выпустили, весь тираж был уничтожен по приказу все тех же охранителей из Главного политуправления. К счастью, чудом сохранилась матрица, и спустя годы пластинка была выпущена огромным тиражом.

«О том, что с песней “мудрят”, — вспоминал Алексей Сурков, — дознались воюющие люди. В моем армейском архиве есть письмо, подписанное шестью гвардейцами-танкистами. Они пишут, что слышали, будто кому-то не нравится строчка “до смерти четыре шага”. “Напишите вы для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть, — мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти”».

Да, как видим, обеспокоило гвардейцев, что из песни, вопреки правилу жизни и войны, слова могут выкинуть. А слова эти — дорогие, в них вся правда жизни солдата на войне, вся его щемящая тоска по родной душе, которая далеко, далеко...

И запели песню Лидия Русланова, Леонид Утесов, другие популярные певцы военной поры. Но самое главное, ее запели в окопах, на передовой, в тылу, в госпиталях, в колхозах, в заводских и сельских клубах... Песня — и слова, и ее мелодия — буквально захватила сердца людей.

Появились народные интерпретации слов — «сталинградская», «курская». Бойцы «дописывали» песню, создавали свои варианты. Но самой неистребимой «редактурой» подверглись строки: «Мне в холодной землянке тепло / От *твоей* негасимой любви...» Как известно, у Суркова было: «...от *моей* негасимой любви». Как вспоминают друзья поэта, он вначале поправлял исполнителей, даже возмущался, но потом братья-писатели ему дружески посоветовали: Алеша, так действительно лучше, и потом — тебя же сам народ поправил!..

У деревни Кашино под Москвой песне поставили памятник. Но самым величественным памятником «Землянке» стало то, что ее до сих пор любят и поют новые и новые поколения. И на праздниках, и на торжествах, и в семейном кругу.

До «Землянки» (так песню стали называть в народе) у Суркова было много песен. Почти все они были написаны в духе времени — маршевые, с известной долей патетики: «Песня смелых», «Чапаевская», «На просторах Родины чудесной...», «Конармейская». Но теперь, как оказалось, возник запрос на душевные слова и мелодию. Бойцы и офицеры друг у друга переписывали симоновское стихотворение «Жди меня». Поэты, как всегда, первыми проникали в душу солдата.

Константин Симонов посвятил своему другу Алексею Суркову одно из самых пронзительных своих стихотворений военной поры «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Эти строки родились в 1941 году, в тот период войны, когда было еще неясно, как сложится ее дальнейших сюжет.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди...
.....
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился.
За то, что на ней умереть мне завещано...

Перечитывая эти строки, все-таки приходишь к выводу, что в русской поэзии гражданская составляющая всегда, традиционно была сильна, высока и волнующа. («Поэтом можешь ты не быть...») Не обделен этой силой и советский период. Самое мощное подтверждение тому поэзия военной и послевоенной поры. Те, кто уцелел, создали произведения огромной творческой энергетики.

Сурков и в своей литературной работе, и на службе, в том числе на военной, всегда был человеком партийным, но при этом всегда — человеком. Верил в высокую гуманистическую миссию компартии, боролся с недостатками, с теми вывихами и упущениями, которые в мирное время мешали строить светлое будущее, а на войне усложняли дорогу к Победе.

В архиве Министерства обороны в Подольске хранится документ, который стоит именно здесь напечатать полностью.⁵

⁵ ЦАМО РФ. Ф. 67, Оп. 12022, Д. 488, Л. 61–66.

«О САМОДОСТАВКЕ РАНЕННЫХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ С ПОЛЯ БОЯ И УБОРКЕ ТРУПОВ

Докладная записка литератора А.А. Суркова, спецкора “Красной Звезды”, секретарю ЦК ВКП/б/ А.А. Андрееву от 23 марта 1943 г.

В двадцатимесячных странствиях по фронтовым дорогам в качестве газетного военного корреспондента я замечал некоторые (т.е. многочисленные в переводе на русский — *Sano der Grosse*) устойчивые ненормальности, о которых считаю долгом коммуниста сообщить в этой записке.

1. Первичная помощь раненым и эвакуация в тыл.

Когда на том или ином участке фронта происходит относительное затишье, с обслуживанием раненых и их вывозом в тыл все обстоит благополучно. Но едва начинаются большие оборонительные или наступательные бои, картина резко меняется. Буквально на сотни километров от места происходящих боев прифронтовые дороги забиваются вереницами идущих в одиночку и группами раненых, ищущих места, где бы сделали перевязку, накормили, включили в организованный поток эвакуации.

Идут люди с перебитыми руками и ключицами, ковыляют раненые в ноги, едва влача свои ослабленные потерей крови тела. Шоферы тысяч пронсящих мимо них порожняком автомашин, несмотря на жалобные, стонущие просьбы, за редким исключением, не притормозят, не посадят. Этапные коменданты на грунтовых дорогах и железнодорожных станциях считают себя свободными от обязанности кормить этих несчастных, отдавших свою кровь Родине людей. Главврачи попутных госпиталей отказывают им в перевязке, ибо они “чужие”, “дикие”.

Так и идут раненые от села до села, кормясь нищенством по колхозным хатам, голодая.

От недоедания и дорожного утомления силы их быстро покидают. Упадок сил и отсутствие перевязок приводят к осложнению ранений. Раны начинают гнить, возникают местные, а часто и общие заражения крови. И большой процент легкораненых, которых при иной системе обслуживания можно было бы через полторы-две недели возвратить в строй, попадая, наконец, в стационарный госпиталь, уже становятся кандидатами на ампутацию или кандидатами в госпитальный морг. Кое-как дотащившись по грунтовым дорогам до ближайшей железнодорожной станции, весь этот самотек устремляется “куда глаза глядят” в не отопленном товарном порожняке. В суровые зимние дни люди и на ходу и особенно во время путешествия в не отопленных вагонах осложняют ранения обморожением.

Немногом лучше и положение организованно эвакуируемых. Из-за недостатка санитарного транспорта и на грунтовых дорогах они неделями валяются в грязных и душных крестьянских хатах на прелой соломе. С перевязками всегда запаздывают. А чуть на участке фронта создалось угрожающее положение, тем, кто хоть как-то могут ковылять, предлагают спасаться своими ногами, а тяжелораненых часто бросают на произвол судьбы. Все это, к сожалению, не частные исключения из хорошего общего правила, а какое-то неписаное устойчивое правило. Так было в первые дни войны при отступлении от западной границы на Западном фронте. То же доводилось мне наблюдать на Западном фронте при тяжелых оборонительных боях и отходе в районе Могилева, Смоленска, при последнем отходе от Вopi и Днепра под Москву.

Особенно трагично было положение раненых на Юго-Западном фронте летом прошлого года, когда десятки тысяч раненых брели от Донца до Оскола за Дон и к

Нижней Волге, а десятки лазаретов, до отказа набитых тяжелоранеными, были брошены на немца.

И в наступательных боях положение раненых не сильно меняется к лучшему. Это мне привелось видеть на том же Юго-Западном фронте в ноябре при наступательных операциях в районе г. Серафимовича и потом, в декабре, при наступлении в районе Среднего Дона. И, наконец, всего несколько дней тому назад, на всем протяжении от Харькова до Ельца, Ефремова и чуть ли не до самой Москвы я видел несчитанные тысячи бредущего и ковыляющего самотека раненых из-под Полтавы, Мерефы, Люботина, Водолаги, Богодухова и других мест недавних ожесточенных боев. Идут куда глаза глядят, не имея никаких документов, кроме замусоленных, наскоро написанных «историй болезни» с неопределенной отпиской «подлежит для эвакуации в тыл страны». Тщетно ищут возможность получить медикаментозную помощь и питание и постепенно впадают в отчаяние и жестокость.

Отстраняя сам по себе немаловажный морально-этический момент в этом деле, я считаю, что подобное безответственное отношение армейских и фронтовых саноганов к делу эвакуации раненых есть преступление перед государством, направляющим все силы к мобилизации людских ресурсов для войны. Весь подобный порядок, помимо вреднейшего влияния на политико-моральное состояние раненых и здоровых бойцов, видящих страдания своих товарищей, приводит к увеличению огромного процента смертности.

Я бродил с ранеными «самотечниками» по дорогам и кочевал с ними в порожняке. И когда раны начинают пахнуть трупом, боль становится невыносимой, а стена комендантского и госпитального бездушия начинала казаться непробиваемой, чудесные люди и храбрые воины, носящие на запекшихся кровью гимнасттерках ордена за храбрость, начинали истерически кричать, что от них взяли, что могли они дать, а теперь бросили, как собак, на свалку. Это, конечно, крик отчаяния сжигаемого страданиями тела, но ведь и к нему надо прислушиваться.

Чтобы навести порядок в этом деле, надо заставить Военные советы фронтов и армий более пристально интересоваться вопросами медицинского обслуживания и эвакуации раненых, а чиновников из санитарных управлений заставить не по букве, а по существу выполнять хорошие и все предусматривающие приказы Народного Комиссариата Обороны по этим вопросам. Двадцатимесячный опыт войны позволяет более или менее точно определять возможный выход из боя раненых при операциях разного масштаба. Следовательно, и саноганы могут относительно точно планировать перед операциями работу сети своих учреждений от полковых медицинских пунктов и медсанбатов до фронтовых госпиталей, равно как масштаб и систему предстоящей эвакуации. И было бы очень хорошо, если бы было организовано хотя бы выборочное обследование в масштабе того или иного фронта компетентной комиссией, состоящей из толковых и сведущих людей, не загруженных рутинной и свободных от ведомственной узости взглядов.

2. Уборка трупов и погребение убитых.

Соответствующими уставами, положениями, приказами НКО и разными инструкциями предусмотрено своевременное погребение павших на поле брани с соответствующими воинскими почестями. И тут, к сожалению, фронтовая повседневность выглядит как систематическое и злостное нарушение всех уставов и приказов. Как только возникают на том или ином участке фронта крупные бои с большим числом убитых, так неделями валяются без погребения на полях и при дорогах трупы командиров и красноармейцев, становясь неотъемлемой составной частью прифронтового пейзажа. Их клюют изголодавшиеся вороны и грызут одичавшие собаки. Оголтелые шоферы гонят по ним грузовики, не считая нужным

выйти из кабины и хотя бы отвалить мертвое тело в кювет. Сотни подобных картин сохранила моя память за двадцать месяцев войны. К примеру, опишу так называемый “язык” за селом Осетровка на Среднем Дону, где начиналось декабрьское наступление Юго-Западного фронта. На всем протяжении дорог от исходных позиций нашей пехоты до деревень Гадюче, Перещепное и Филоново сама дорога и придорожные сугробы пестрели трупами убитых красноармейцев. Они валялись на снегу и висели на проволоке. Возле самой дороги, возле разбитых и горелых танков были разбросаны страшные, черные, как силуэты, головешки сгоревших танкистов. Они лежали так больше недели уже тогда, когда фронт укатился на многие десятки километров на юг и запад. Мимо них прошли к фронту десятки тысяч бойцов резервных частей, и едва лицезрение страшных человеческих головешек и застывших в неестественных и страшных позах пехотинских трупов поднимало боевой дух молодых, необстрелянных, не видевших еще смерти в лицо бойцов.

Формализм и бездушие — причина такого положения. Еще в декабре 1941 г., при наступлении под Москвой, на Волоколамском шоссе близ Истры я наткнулся на большую группу красноармейских трупов. По ним уже начинали кататься грузовики. Поблизости в лесу я нашел пехотный батальон и обратился к его командиру, капитану, с предложением похоронить трупы. Этот капитан мне ответил: “Своих покойничков мы схоронили, а это не наши...” К сожалению, таких капитанов у нас довольно много. Часть с боями идет вперед, не успевая похоронить своих убитых, а идущие ей вслед считают отдавших свои жизни за Родину “чужими” и спокойно проходят мимо, бросая их на растерзание воронам и собакам.

Трупы безразлично — валяется ли он, разгрызаемый собаками, в поле, или похоронен с почестями по воинскому церемониалу. Но живому бойцу, идущему в бой, далеко небезразлично отношение к убитому, как к падали. Он произвольно ставит себя на его место, и малоуютное его фронтовое существование становится еще неуютнее и холоднее. Ведь даже самый неразвитый боец чувствует в таком отношении к мертвым неуважение к смертному подвигу во имя Родины.

Мы всячески издеваемся над аккуратенькими немецкими солдатскими кладбищами, над тем, что в немецких обозах возят заранее заготовленные кресты. А ведь и эти крестики, и эти аккуратенькие кладбища на центральных площадях занятых городов и строгий церемониал солдатских похорон — все есть тонкая игра на солдатской психологии, все есть подготовка солдата к тому, чтобы он смелее перешагнул черту смерти.

В вопросе погребения убитых, равно как и в вопросе обслуживания раненых, корень зла лежит в довольно сильно распространенной деляческой психологии узколобого тоталитаризма. Пока солдат двигается, стреляет, исполняет команды — им надо заниматься, но как его убили или как он выбыл из строя по ранению — он становится “отработанным паром”, обузой, с ним уже надо “возиться”. Многочисленные, грубые сердцем деляги подобного типа не только забывают, что сие никак не совместно с нашим, коммунистическим отношением к личности, но и прямо вредит их текущим делам, ибо солдат-то чуток сердцем, все видит, все замечает, из всего делает свои тихие выводы. И чем больше становится усталость от войны, тем вреднее действуют на людей все эти неполадки.

3. Об уборке трупов неприятельских солдат.

Наступившая весна и стремительное таяние снега обнажили на местах кровопролитных зимних боев тысячи трупов неприятельских солдат и наших красноармейцев, которые были в свое время занесены снегом. Все поля и дороги на Дону между Доном, Донцом и Осолом сейчас усеяны трупами раздетых, пожираемых собаками и птицами немцев, мадьяр, итальянцев, румын. Среди них попадаются

и трупы красноармейцев. В некоторых местах вблизи населенных пунктов валяются сотни и тысячи оттаявших трупов. Вдоль всей железнодорожной линии между Валуйками и Касторным трупы лежат сплошняком. На выгоне у г. Новый Оскол валяются на поверхности земли около трехсот трупов мадьяр и немцев, у доброй трети которых обрублены ноги (горожане снимали сапоги). Но видно было, что кто-то начал заниматься уборкой. Ссылаются на то, что вот оттаает земля, тогда выроем яму, соберем и похороним. Но земля оттает позже, чем трупы разложатся и начнут распространять заразу и эпидемиологические заболевания.

Необходима немедленная строжайшая директива местным органам советской власти, чтобы силами населения трупы были собраны и захоронены или сожжены. Без подобной строгой директивы с обязательной проверкой исполнения ничего не будет сделано и тогда вспышки эпидемических заболеваний не избежать.

Вот те три вопроса, по которым я считал своим долгом информировать Вас.

За время войны я побывал на многих фронтах и во многих армиях. К сожалению, приходится установить, что в наших боевых и политических донесениях, равно как и в отчетах и информации, далеко еще не изжит элемент хвастовства, очковтирательства и замазывания теневых сторон армейской жизни и боевой практики. Так было со «взятием» Холма, Рузы, Сум и многих других больших и малых населенных пунктов. Так систематически «на глазок», с потолка сообщают в Ставку цифры неприятельских потерь и трофеев. Так, мне кажется, информируют и по тем вопросам, которые стали предметом этой записки. Там, у места событий, особенно видны пагубные последствия такой «практики». У нас неисчерпаем резервуар людских ресурсов, велика, неисчерпаема выносливость и привычность ко всему воюющего советского человека. А на войне всякий просчет, проистекающий от неверной информации, влечет за собой излишнюю трату драгоценной человеческой крови и нервов».

Читая докладную записку подполковника А.А. Суркова в Центральный Комитет партии, невольно думаешь о том, что этот документ — самая главная его фронтная корреспонденция. Самая честная, правдивая и действенная. Наверняка ее читал и Верховный Главнокомандующий, и члены Ставки. Потому что после этого вышли приказы по фронтам и армиям, которые обязывали командиров и тыловые службы улучшить работу по подбору раненых на поле боя, оказанию первой медицинской помощи и дальнейшей отправке их в полевые санчасти и госпитали. Надо признать и тот факт, что написать записку такой эмоциональной нагрузки и честности, полной сострадания и негодования, было непросто. Многие фронтные корреспонденты, политработники и командиры видели эти тоскливые, пахнущие гниющими ранами потоки «самотечников», валяющиеся у дорог и в поле трупы убитых и не погребенных красноармейцев, обгорелых танкистов, но докладная записка вышла из-под пера поэта Суркова. И коммунист Сурков свято верил, что партия наведет порядок и в этом неотложном деле.

7

Не только война в эти годы была предметом творческого интереса Суркова. Были и дальние командировки в тыл, который работал на фронт. В 1944 году появилась книга очерков «Огни Большого Урала. Письма о советском тыле».

С 1944 года по 1946-й Сурков был главным редактором «Литературной газеты».

В июне 1945 года ездил в Берлин, побывал в Лейпциге, Радебойле и Веймаре. После поездки по покоренной Германии появилась книга стихов «Я пою Победу».

Сурков быстро, зачастую по-газетному откликнулся в своих стихах на меняющиеся ветра времени.

С 1945 года по 1953-й занимал пост ответственного редактора журнала «Огонек». С 1962 года — главный редактор «Краткой литературной энциклопедии». Член редколлегии «Библиотеки поэта» — прекрасной книжной серии, выходящей в издательстве «Советский писатель» в советское время. Синие фундаментальные тома, с глубокими, исчерпывающими комментариями. Владельцы домашних библиотек ценят тома этой серии и хранят уже как артефакты. К сожалению, новое время не смогло удержать эту культуру, сочетавшую и высокую поэзию, и высокое книжное искусство. Я посмотрел на свои полки: Дмитрий Кедрин, Анна Ахматова — оба изданы в годы, когда членом редколлегии был Сурков.

В те годы писатели плотно сидели под крылом КПСС. Кроме дел литературных, редакторских, творческих, Сурков тянул и партийную лямку. С 1952 года по 1956-й был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. С 1956 года по 1966-й — кандидат в члены ЦК КПСС. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР.

В Союзе писателей СССР с 1949 года занимал пост заместителя генерального секретаря, а с 1953 года по 1959-й — первый секретарь Союза писателей СССР.

Еще в 30-е годы, отзываясь на актуальные «нужды партии» выступал в печати, клеймил отступников, врагов и заговорщиков, троцкистов и прочих. Спустя десять лет его перо снова понадобилось партии: в 1947 году Сурков опубликовал статью «О поэзии Пастернака». В августе 1973 года подписал письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда», осуждающих позицию А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова. Переводчица Л.З. Лунгина писала: «Это был злой, хитрый, опасный человек, типичный аппаратчик».

Однако этот «злой» и «хитрый», как мог, помогал Анне Ахматовой и другим писателям и поэтам, по разным причинам пребывавшим в немилости у власти. В частности, в эти же годы по просьбе Анны Андреевны он оказывал помощь поэту Иосифу Бродскому. Рекомендовал для вступления в Союз писателей братьев Стругацких. Константин Симонов, вспоминая «дело врачей», говорил: «Сурков глубоко, органически презирал и ненавидел и антисемитизм как явление, и антисемитов как его персональных носителей, не скрывал этого и в своем резком отпоре всему, с этим связанному, был последовательнее и смелее меня и Фадеева». Что ж, и в этом Сурков соответствовал линии партии.

Как ректор Литинститута Сурков очень многое сделал для того, чтобы молодые писатели легче и смелее преодолевали порог профессионального овладения словом. Многим помогал с трудоустройством после окончания учебы.

В 1969 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда — «За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы, плодотворную общественную деятельность и в связи с семидесятилетием со дня рождения».

Переводил на русский язык стихи зарубежных поэтов: Янки Купалы, Николаса Гильена, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Христо Ботева, Отона Жупанича, Мао Цзедунa и других.

Умер Сурков 14 июня 1983 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

* * *

Видно, выписал писарь мне дальний билет,
Отправляя впервой на войну.
На четвертой войне, с восемнадцати лет,
Я солдатскую лямку тяну.

Череда лихолетий текла надо мной,
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла стороной,
Как легла на виски седина.

И от пуль невредим, и жарой не палим,
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным страданьем своим
Откупила у смерти меня.

Испытало нас время свинцом и огнем.
Стали нервы железу под стать.
Победим. И вернемся. И радость вернем.
И сумеем за все навестать.

Неспроста к нам приходят неясные сны
Про счастливый и солнечный край.
После долгих ненастий недружной весны
Ждет и нас ослепительный май.

* * *

Трупы в черных канавах. Разбитая гать.
Не об этом мечталось когда-то.
А пришлось мне, как видишь,
Всю жизнь воспевать
Неуютные будни солдата.

Луг в ромашках серебряных сказочно бел,
И высокое облако бело.
Здесь мой голос на резком ветру огрубел,
Да и сердце мое огрубело.

Ничего не поделать! Такая судьба
Привалила для нашего брата.
Оттого и робка и немного груба
Неуклюжая нежность солдата.

Но и мы ведь заявимся в отческий дом
Из землянки холодной и тесной.
Может, сердцем тогда в тишине отойдем
И напишем веселые песни.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Собрание сочинений в 4 т. — М.: Художественная литература, 1965.
Собрание сочинений в 4 т. — М.: Художественная литература, 1979.
Избранное. — М.: Художественная литература, 1990.
Избранные стихи. — М.: Советский писатель, 1947.
Избранные стихи и песни. — М.: ГИХЛ, 1953.
Запев. Книга стихов (1925 — 1929). — М.: ГИХЛ, 1930.
Именем жизни. Стихотворения. — М.: Советская Россия, 1986.

Песни гневного сердца. — Ярославль: ОГИЗ Ярославское областное издательство, 1944.
Поэзия, и Волга, и любовь. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1986.
Пылающий адрес войны. — М.: Книга, 1988.

Шаги времени. Стихотворения, маленькие поэмы, песни. — М.: Московский рабочий, 1983.

Фронтовая тетрадь. Стихи, июнь-август 1941 года. — М.: Молодая гвардия, 1941.

По военной дороге. Песни на стихи Алексея Суркова. (Вступит. Статья Н.А. Сурковой). — М.: Современная музыка, 2004.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

Золотая Звезда Героя Социалистического Труда.

Четыре ордена Ленина.

Орден Красного Знамени.

Два ордена Красной Звезды.

Орден «Знак Почета».

Многие медали, в том числе иностранные.

Дважды лауреат Сталинской премии по литературе — 1946 и 1951 годы.

Международная Ботевская премия по литературе — 1976 год.

Глава пятнадцатая

СЕРГЕЙ КРУТИЛИН

ЛЕЙТЕНАНТ ИЗ 2-й УДАРНОЙ

1

Сергей Андреевич Крутилин известен прежде всего романом «Липяги».

Он принадлежит к старшему поколению замечательного направления в русской литературе советского периода — «деревенской прозы». В предисловии к собранию сочинений в трех томах Сергея Крутилина критик и литературовед Евгений Осетров писал: «Деревня и литература издавна живут в русской словесности в органичном единстве. Тургеневские “Записки охотника” заставляют и теперь, как в детстве, сладостно биться сердце. Стоит только вспомнить произведения, связанные с полем и избой, как невольно подумаешь об их бесконечном многообразии — тематическом и жанровом, — вобравшую в себя многоцветную сложность действительности».

Евгений Осетров в ряду имен, достойно возвысивших в нашей литературе «деревенскую прозу», ставит Сергея Крутилина рядом с Михаилом Алексеевым, Владимиром Солоухиным, Сергеем Ворониным. Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин придут потом, как послевоенные.

Но в конце 1960-х Сергея Крутилина как прорвало — хлынули одна за другой военные повести «Лейтенант Артюхов», «Кресты», «Окружение». Трилогия оформилась в единое полотно, в роман, которому автор дал неожиданно мирное название — «Апраксин бор». Пережитое требовало осмысления. А опыт войны Крутилин получил в самом пекле — во 2-й ударной армии периода боев на Любанском направлении, а затем окружения.

2

Сергей Андреевич Крутилин родился 2 октября 1921 года в селе Делехове под городком Скопиным Рязанской губернии в крестьянской семье. «Генеалогическое древо писателя неотрывно от рязанской земли», — очень точно заметил Евгений Осетров. И это постоянно будет выливаться в прозу, а местами даже в военную трилогию «Апраксин бор».

Окончил сельскую школу. Поступил в Скопинский строительный техникум (по другим данным — ремесленное училище) и окончил его перед самой войной, в 1940 году, «направлен на стройки Дальнего Востока». Работал в районе Уссурийска. В РККА призывался Уссурийским военкоматом. Когда началась война, его, как имеющего средне-техническое образование, зачислили в Хабаровское военно-техническое училище. По окончании училища направлен на Волховский фронт. После войны, стараясь успокоить разболевшуюся память, он расскажет в повести «Лейтенант Артюхов» и о начале своей армейской дальневосточной службы, и о дороге на запад, и о первых боях и потерях.

Дальнейшее тоже ляжет в военную трилогию.

3

Повесть «Лейтенант Артюхов» может показаться минорной, для военной прозы слишком спокойной, будто замедленной. Зато в ней масса подробностей армейской службы, деталей солдатского быта. Не зная всего этого, не пережив, такое невозможно воспроизвести. Нынешнему читателю военной прозы, жадному до подробностей того времени, это особо ценно.

Вот батареицы грузятся в эшелон на полустанке, откуда ветка уходила к Хасану. Заводят в теплушки лошадей, закатывают пушки, складывают личное снаряжение и батарейное имущество. Вот устраиваются на нарах. Ведут разговоры о фронте, гадают, куда направят их полк. Видимо, под Москву, ведь немцы прорвались под Можайском... (Братья Сергея Крутилина по «лейтенантской прозе» Василий Росляков, Константин Воробьев, Иван Акулов, поэты Семен Гудзенко, Сергей Орлов и Михаил Луконин уже в бою, дерутся с врагом в районах Белева, Клина, Малоярославца и Сухиничей.) Кормят и поят лошадей, ждут газет, из которых узнают о положении на фронте. Вот изучают таблицы с изображением немецких танков, с красными стрелами, указывающими уязвимые места. Заполняют розданные старшиной медальоны. Вот состав проезжает мимо бушующего Байкала. Пока все в их жизни хоть и необычно — дорога! — но все же буднично. Состав огибает берег Байкала, а Артюхов вспоминает родную деревню на пасху...

«Артюхов улыбнулся, вспомнив: вот так же в детстве, на пасху. Служба пасхальная началась в полночь. Бывало, мать нарядит их загадой, а вечера — Василий и младшего брата. Наряженные, они помянутся час-другой, а потом прикормят где-нибудь на лавке, наказав деду, чтобы он их обязательно разбудил. В избе тихо, пахнет свежее испеченным куличом, робко горит лампада. Незаметно одолевает сон, и они, наряженные и наглаженные, засыпают. В полночь дед начинает будить их: «Васька, вставай!» Вася спросонья никак не протрет глаза. Он чешет нос, вытирает со рта слюни и снова, как куренок, валится на лавку. «Да оставь ты их, батя! Пусть спят. Как-нибудь и без них Христос воскреснет...» — говорит мать.

Так и теперь: вечером все были возбуждены. Встречи с Байкалом ожидали, как большого праздника. Ну как же! Столько наслышались ребята об этом священном море от старшины, что каждому не терпелось взглянуть на Байкал. Абдуллин вылил остатки кипятка из чайника, чтобы зачерпнуть в него байкальской воды. Бутин обулся с вечера, чтоб не терять зря времени. Однако как ни тормозил их Верхогляд, не слезли с нар ни Ахмед, ни Бутин, ни Чихачев, ни Сабиров.

Тускло, словно лампада, горел фонарь под потолком, стучала по железной крыше снежная крупа. Откуда-то доносились удары осмотрщиков по колесам вагонов».

Казалось бы, ничего не происходит. О чем повествовать? А вот о том, как медленно, с долгими остановками идет на запад состав. Как батареицы ведут такие же тихие, в ритм дороге, разговоры. Рассказывают о своей родине и родне. Раз-



Сергей Крутилин

влекают себя и своих товарищей разными байками. Лейтенант Артюхов, назначенный на огневой взвод накануне отправки, постепенно знакомится со своими номерами, со старшиной Тябликовым, распорядительным и веселым, другими артиллеристами. Баня в Иркутске, выдача нового обмундирования, теплых ватных брюк, телогреек. Эшелон с ранеными на соседних путях. Батарея, возвращаясь из бани строем, с бодрой песней, подошла к эшелону, еще не зная, что и кто в этих вагонах, ехавших с запада, со стороны войны...

«Тут же, у Ангары, они впервые увидели подлинный лик войны — раненых. Вид их был ужасен. И солдаты — только что одетые и снаряженные для фронта, здоровые, сытые, чистые — остановились, пораженные».

Самострел на станции Чулымская, из секантов. Пуля аккуратно пробил ладонь. Сказал, что карабином нечаянно за пуговицу зацепил...

Встречные, встречные... Эвакуированные,

платформы с заводским оборудованием, со станками. Снова раненые. «Сибирь глотала все», — одним кратким абзацем подытоживает автор повести.

И вот еще, из того же дорожного: «Из четырех десятков батарейцев, ехавших в теплушках, брились только двое: старшина и политрук. У остальных тридцати восьми едва-едва пробивался пушок. Правда, Малахов носил баки, но, во-первых, баки были тощенькие, реденькие, а во-вторых, у него не было своей бритвы, и он всякий раз просил старшину, чтобы тот навел ему фасон».

Из газет: бои уже под Малоярославцем и Волоколамском.

« — Это ж совсем под Москвой! — подхватил Максимов. — В Малоярославце я бывал. У моего дяди там дача.

— Вот и поедешь дядю от немцев освобождать, — не то шутя, не то всерьез обронил Верхогляд.

— Да-а... Как она там, Москва-то наша. Еще держится?

После объявления столицы на осадном положении каждое утро начиналось с разговоров о Москве. С тревогой ожидали прихода комбата. Он всегда приносил из штаба свежие новости: на каком участке фронта появилось новое направление, где идут наиболее упорные бои. Но больше всего бойцы волновались за Москву. Все почему-то были уверены, что дивизию бросят именно туда, на защиту столицы.

— Интересно, а парад на Красной площади будет нонче? — спросил, ни к кому не обращаясь, Бутин.

— Раз Сталин остался в Москве, значит, и парад будет! — Зотов поднялся из-за стола, быстро-быстро закинул куда-то помазок и безопасную бритву и, отодрав клочок бумаги с кровотокающих порезов, стал умываться. — Может, нас специально для парада и нарядили так... — говорил он, смывая со щек серые разводы мыльной пены. — Еще войдем в историю, ребята!»

Что ж, в историю все эти ребята вошли.

Никто из них, ехавших в том эшелоне, в том числе и командир огневого взвода лейтенант Артюхов, и не предполагают пока, что разгружаться их полку предстоит под Ленинградом.

В послесловии к трилогии «Прощаясь с героями» Сергей Крутилин писал: «Думаю, что никто из нас, писателей, прошедших Великую Отечественную войну, ни

о чем другом и не мечтает, как только о том, чтобы в своих произведениях воссоздать то неповторимое время, те героические события, свидетелями которых нам суждено было стать.

<...>

Тогда — в начале войны — не было легких участков фронта: победа доставалась нам дорогой ценой. Но наша 92-я стрелковая дивизия, в которой я служил артиллеристом, оказалась тогда в особо сложном положении.

Мы прибыли на фронт в тревожные дни октября 41-го года. Прибыли под Тихвин, с падением которого вокруг Ленинграда замыкалось второе кольцо сухопутной блокады. Начались упорные, кровопролитные бои.

9 декабря штурмом наши войска освободили Тихвин. Немцы отступили за Волхов.

Преследуя фашистов, 2-я ударная армия, в состав которой входила и наша дивизия, в начале 42-го прорвала сильно укрепленную оборону немцев и двинулась вперед, на Любань. Однако немцам удалось перекрыть коммуникации, связывающие нас с главными силами Волховского фронта. По сути это означало — окружение.

На долгие дни и месяцы мы оказались отрезанными от своих, оказались в глухих, непроходимых лесах и болотах, почти без продовольствия, без боеприпасов... В этих тяжелейших условиях нужно было не только выжить, выстоять, но и, отвлекая на себя крупные соединения фашистов, рвавшихся к Ленинграду, отражая их бесперывные атаки, прорвать кольцо окружения и выйти к своим.

Наша группа — разрозненные остатки 92-й стрелковой дивизии — выходила из окружения в конце июля. «Выходила» — это, пожалуй, не то слово. Голодные, измотанные в боях люди *бежали* по лежневке — деревянному настилу, проложенному на болоте в узком, простреливаемом с двух сторон коридоре прорыва близ деревни Мясной Бор. Бежали, отстреливаясь, под бомбежкой; бежали, неся на себе раненых и ослабевших от голода товарищей.

Память о пережитом все эти годы не давала мне покоя: я чувствовал себя в долгу перед павшими, словно виноват был в том, что остался жив... Думал: уж коль остался я жив, коль дано мне в руки перо, кому же, как не мне, рассказать о подвиге этих людей, рассказать о нашем политруке Николае Родине из Кургана, погибшем от ран в окружении, о добродушном увальне Саше Румянцеве, который так хотел и так спешил жить, и о многих, многих других фронтовых друзьях-товарищах?

<...>

Уже во время работы над «Окружением» я знал о подвиге члена Военного совета армии Ивана Васильевича Зуева. Я не был с ним знаком. Но я видел его в том ночном бою. Это он, Иван Васильевич Зуев, отменил ранее принятое решение выходить по узкоколейке — и повел всех нас по лежневке. Это ему, раненому и тяжело больному, бойцы предложили снять с себя знаки различия — ромбы и спорты звезды с рукавов гимнастерки. Но Зуев ответил, что даже с мертвого он не позволит снимать с себя комиссарские звезды...

И с него не сняли их. И по этим знакам его опознали двадцать лет спустя. На том месте, где он погиб, теперь возвышается мраморный памятник-монумент».

Автор трилогии нигде, ни в повестях, ни в послесловии не называет имени командующего 2-й ударной армией генерал-лейтенанта А.А. Власова. Авторское табу — недостоен. Член Военного совета армии комиссар И.В. Зуев выведен в романе под именем комиссара Чуева. Он — вожак. Он организует прорыв, первым бросается в поток бегущих по лежневке к спасительной горловине. Он руководит группой прорыва, которая подавляет немецкие огневые точки, препятствующие выходу измощенных людей, голодных, усталых, больных, раненых. Чем-то на-

поминает фадеевского Левинсона из романа «Разгром». С той лишь существенной разницей, что отряд Левинсона гибнет, но сам он спасается, а тут комиссар гибнет, но спасает большое количество людей, своих подчиненных.

Иван Васильевич Зуев родился в селе Ближне-Песочное Нижегородской губернии. Окончил Смоленское военно-политическое училище. В ноябре 1936 года отбыл в Испанию, воевал — комиссар танкового батальона. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. По возвращении ему присвоено звание полкового комиссара. Продолжил службу в танковых войсках. В 1939 году он становится бригадным комиссаром. Военный комиссар 8-го стрелкового корпуса. В 1939–1940 годах принял участие в походе в Западную Украину и Бессарабию, а также в советско-финляндской войне. Весной 1941 года назначен членом Военного совета 11-й армии Прибалтийского военного округа. Затем — 4-й армии. С марта 1942 года — член Военного совета 2-й ударной армии. В конце июня 1942 года во время прорыва погиб в перестрелке с немецкими автоматчиками. По другой версии отстреливался до последнего патрона и застрелился, не желая попасть в плен. По документам числился пропавшим без вести. Хотя из окружения вышли свидетели, участвовавшие в его похоронах. В 1965 году его могила была найдена, останки идентифицированы и торжественно преданы земле возле станции Бабино Ленинградской области. Комиссар И.В. Зуев посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

4

Что пережили бойцы и командиры в любанском «котле», описать невозможно. Вот фрагмент служебной записки начальника особого отдела НКВД Волховского фронта старшего майора госбезопасности 3-го ранга Мельникова в Наркомат внутренних дел: «...Зам. нач. политотдела 46 дивизии Зубов задержал бойца 57 стрелковой бригады Афиногенова, который вырезал из трупа убитого красноармейца кусок мяса для питания. Будучи задержан, Афиногенов по дороге в штаб умер от истощения...»

Окруженная армия сражалась, отвлекая на себя несколько немецких дивизий и тем самым, конечно же, помогала Ленинграду выстоять. Хотя трудно обозначить цену этой помощи.

О роли командующего сказать все же придется. Всего несколько фраз. Из воспоминаний полковника в отставке, бывшего комиссара 59-й стрелковой бригады И.Х. Венца: «Где-то в середине июня в расположение бригады и 305-й сд в районе р. Глушица перебазировался КП 2-й УА. С этого времени и почти ежедневно встречался с И.В. Зуевым, находившимся постоянно в войсках. Власов в войсках не появлялся, а сидел сиднем в своей конуре. Не встал он в боевые порядки и тогда, когда все, от солдата до генерала, кроме прикрывавших фланги, в ночь с 23 на 24 июня пошли на прорыв».

Из донесения оперативного работника резерва особого отдела Волховского фронта капитана Горнотаева, который в дни выхода из «котла» работал на пункте сосредоточения остатков 2-й ударной армии и беседовал с заместителем начальника особого отдела НКВД 2-й ударной армии старшим лейтенантом госбезопасности Горбовым, с бойцами, сопровождавшими Военный совет армии, с шофером члена Военного совета И.В. Зуева, начхимом армии, прокурором армии и другими бойцами и офицерами, в той или иной мере осведомленными в попытке Военного совета вырваться из окружения: «Военный совет выходил с мерами охранения впереди и с тыла. Наткнувшись на огневое сопротивление противника на р. Полнеть, головное охранение под командой зам. начальника ОО 2-й Ударной армии т. ГОРБОВА вырвалось вперед и пошло на выход, а Военный совет и тыловое охранение

остались на западном берегу р. Полнеть. Этот факт показателен в том отношении, что при выходе Военного совета отсутствовала организация боя и управление войсками было потеряно. Лица, выходявшие одиночками и мелкими группами после 25.06. с.г. о судьбе Военного совета ничего не знают.

Резюмируя, следует сделать вывод, что организация вывода 2-й Ударной армии страдала серьезными недостатками. С одной стороны, в силу отсутствия взаимодействия 59-й и 2-й Ударной армий по обеспечению коридора, что в большой степени зависело от руководства Штаба фронта, с другой стороны, в силу растерянности и потери управления войсками штаба 2-й Ударной армии и штабами соединений при выходе из окружения.

На 30.06.42 г. здоровых бойцов и командиров на пункте сосредоточения учтено 4113 чел., среди них есть лица, пришедшие из окружения при весьма странных обстоятельствах, так, например: 27.06.42 г. вышел один красноармеец, который заявил, что он сутки пролежал в воронке и теперь возвращается. Когда ему было предложено покушать, он отказался, заявляя, что он сыт. О пути следования на выход рассказывал необычайный для всех маршрут».

Что ж, немецкая разведка не упускала случая, чтобы внедрить в поток выходящих из окружения своих завербованных агентов с конкретными заданиями. Чаще всего задачей были диверсии, а также сбор разведанных.

А вот капитан госбезопасности Горностаев докладывает уже непосредственно о группе, в которой выходил из «котла» лейтенант Крутилин:

«Оперуполномоченный 1-го отд. ОО НКВД фронта лейтенант гос. Безопасности тов. ИСАЕВ был во 2-й Ударной армии. В рапорте на мое имя он пишет: «Группа 92 стр. див. в количестве 100 человек решила идти другим путем, по узкоколейке. В результате с некоторыми потерями прошли через шквал огня на Мясной Бор»».

Тем временем штаб генерала Власова пытался выйти из окружения, выбрав иной маршрут. После неудачного общего прорыва командующий потерял, как в таких случаях говорят, присутствие духа. Уцелевшие из числа бойцов и командиров, видевшие его в те часы и дни, свидетельствуют, что выглядел он надломленным, «безучастным, не прятался от обстрелов». Командование группой взял на себя начальник штаба армии полковник Виноградов. Группа блуждала по лесам и болотам, в стычках с немецкими патрулями постепенно таяла. 11 июля группа начальника связи штаба армии генерал-майора Афанасьева в количестве пяти человек, не согласившись с планом полковника Виноградова, отделилась и вскоре вышла к партизанам. За генералом с «Большой земли» тут же выслали самолет. Генерал Афанасьев вскоре вернулся в строй, службу закончил начальником связи артиллерии Советской Армии.

Двенадцатого июля группа, в которой находился Власов, разделилась для поисков еды. С генералом осталась повариха столовой военторга Мария Воронова. В деревне Туховежи их арестовали полицейские и заперли в сарае. На следующий день в деревню приехали немцы. Староста доложил об арестованных русских, но те отмахнулись, расспрашивая о генералах штаба 2-й ударной армии, которые, по их данным, должны были находиться где-то в окрестностях Туховежи. И уехали. Но потом, никого не найдя, вернулись и решили поинтересоваться задержанными старостой и полицейскими. Когда открыли сарай, Власов сказал по-немецки: «Не стреляйте, я — генерал Власов!» У него был пистолет с полной обоймой патронов. Дальнейшее известно.

В те дни, когда бывший командующий 2-й ударной армией устраивал свою судьбу в германской армии, командир огневого взвода 76-мм полковых пушек лейтенант Крутилин лежал в госпитале. Левой руки у него уже не было — ампутировали выше локтя. Инвалид. Ничего хорошего дальнейшая жизнь ему, однорукому, не обещала.

В те годы, когда Сергей Крутилин писал свою военную прозу, тема Власова была не то чтобы совсем табуирована, но все же закрытые архивы не давали возможности ни историкам, ни писателям свободно изучать подробности произошедшего. Существовала официальная версия: неудачное наступление ударной группировки войск Волховского фронта во главе с самой мощной 2-й ударной армией, окружение армии, растерянность и малодушие командующего, оказавшегося в трудном положении, переход на сторону германской армии, затем присяга Гитлеру, служба и создание РОА (Русской Освободительной Армии).

О Власове и РОА мог бы написать Сергей Крутилин. Не написал. Кто бы перед ним, даже лауреатом госпремии по литературе, распахнул архивы? Да никто! Сидели на сундуках с дубовыми замками тусклые чиновники и добросовестно исполняли незыблемое: не пущать. Вот и не имеем мы в своей культуре целой литературы — о самых трагичных и спорных страницах Великой Отечественной войны, бесценных книг и исследований, написанных самими участниками и свидетелями. Впрочем, они издали бтльшее — «лейтенантскую прозу». Но как бы сейчас, в эпоху внутренних и глобальных споров, нужны были бы документальные книги с широким цитированием первоисточников, прокомментированных участниками тех трагедий!

Чтобы закрыть в этой главе тему Власова, придется процитировать Илью Эренбурга: «Конечно, чужая душа потемки; все же я осмелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский, мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание; он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе: немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переделся. Увидев немцев, он испугался: простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он хорошо знал политику, восхищался Сталиным, но убеждений у него не было — было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать все, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил, он заявлял по радио, что давно возненавидел советский строй, что он жаждет «освободить Россию от большевиков», но ведь он сам привел мне пословицу: “У всякого Федорки свои отговорки”. Плохие люди есть повсюду, это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания».

Расчеты и интриги предателя закончились на виселице во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы: лишенный звания и наград, гражданин неизвестно какой страны, Андрей Власов за измену Родине был повешен 1 августа 1946 года.

5

Первая повесть трилогии «Лейтенант Артюхов» заканчивается гибелью сержанта Верхогляда из огневого взвода Артюхова. Сержант погиб при разгрузке эшелона во время авианалета.

«Рядом, под березой, скучившись, понуро стояли командиры: капитан Лысенко, политрук Зотов, Малахов; Артюхов подавал команду — зарядить карабины. Батарейцы готовились отдать последний долг сержанту.

Осадив коня, к березе подскакал связной:

— Капитан Лысенко — срочно на КП полка!

— Хорошо. Доложите: сейчас буду... — отозвался комбат.

Капитан стоял рядом с политруком, и его лицо, изрытое оспой, осунувшееся после бессонной ночи, мало чем отличалось от желтого, воскового лица Верхогляда.

Связной усакал.

Верхогляда уложили на дно неглубокой могилы.

Левее березы, над вершинами заиндеветших елей, медленно, нехотя выкатилось студеное, неприветливое солнце.

Грянул залп.

Начинался первый фронтной день».

Вторая повесть — «Кресты» — о противостоянии на занятом дивизией рубеже. Новые потери и первые победы. Развитие романтических отношений лейтенанта Артюхова и санструктора батареи Пани Зайцевой.

Во время удачного наступления полка на Заозерье, когда артиллеристы особо отличились, обеспечивая огневой налет, лейтенант Артюхов увидел первого убитого немца.

«Немец лежал на боку: спиной к хутору, лицом к лесу. Поземка наполовину замела его, и не было ни крови вокруг, ни видимых мучений на лице — казалось, что он не убит вовсе, а просто спит. Правая рука его была откинута, словно он напоследок хотел захватить пригоршню снега. В двух шагах от него валялся автомат, который он, видимо, выбросил падая. Пилотка с алюминиевой кокардой тоже соскочила с головы: густые русые волосы занесло, забило снегом.

— Он все еще глядит. Может, ранен? — почему-то шепотом спросил Бутин.

— Нет, не ранен. — Артюхов носком валенка ударил по каблуку сапога. Нога убитого не поддалась.

Это был первый немец, которого Артюхов увидел тут, на фронте. Фашист убит, но он был враг — сильный, во многом загадочный — и Василий во все глаза глядел на него...

<...>

...И вот тут, в глухом, сумрачном углу России, среди болот и хмурых лесов, он споткнулся наконец и лежит...

Интересно, о чем он думал, когда вдруг увидел перед собой огненные всплески “максимов”? Неужели об этом самом “жизненном пространстве”? Вряд ли! Небось, прежде всего, думал о матери, которая будет ждать сына и плакать, скорбя о его ранней смерти. Столько дней ждать и плакать, сколько дней будет жить...»

О, славянская душа! Сразу приложила чужую потерю и боль к своей боли... А они сюда шли другими. Железными, как танки. Хладнокровными и потому жестокими. Поджигали дома, стреляли в женщин, стариков и детей. Сгоняли в противотанковые рвы и карьеры под пулеметы целые деревни. Расправлялись с пленными. Неделями не кормили, морили холодом и голодом. Отвлекусь и расскажу историю, которую помнит моя родная деревня. В оккупации наша округа была два года. Немцы пришли в октябре 1941 года, а выбили их, погнали за Десну в сентябре 1943-го. И вот как они пришли. Оборона одной из наших дивизий проходила в стороне. Но немцы, зачищая все, зашли и в деревню. Шли цепью. Один из молодых солдат, понимая, что в картофельной яме за дорогой от деревенского порядка кто-то есть. Подошел и бросил туда гранату. Убил четверых: женщину с двумя дочерьми, одной из которых было восемнадцать, а другой шестнадцать, и соседа старика. Они прятались в яме для хранения картофеля. У нас до сих пор так иногда до весны хранят урожай картофеля. Дело было в сентябре, и картошку на зиму в ямы еще не засыпали — рано. Когда немец понял, что там не красноармейцы, что он убил мирных жителей, беззащитных детей, их мать и старика, он некоторое время стоял в нерешительности. Но к нему тут же стали подходить его товарищи, хлопать по плечу и ободрять: мол, не расстраивайся, солдат, привыкай, не то еще будет. И только один, пожилой, подошел к яме, заглянул внутрь и

что-то резкое сказал молодому. Потом позвал односельчан, чтобы помогли ему и спрыгнул вниз, начал вытаскивать убитых. Вот где столкнулись два мира и два ада... Интересно, если тот молодой немец выжил и вернулся к своей матери, что он рассказывал ей о России и снилась ли ему та семья, убитая им в смоленской деревне во время зачистки местности...

А наши лейтенанты — Сергей Крутилин, Вячеслав Кондратьев, Юрий Бондарев — пытались разглядеть в убийцах людей. Все верно. Потому как они следовали традициям и ценностям своей души и русской литературы.

«Ну и поделом ей! — решил сначала Артюхов, но тут же что-то тронуло его, и он смягчился. — На мне полушубок, валенки, шапка, — подумал Василий, — и то я мерзну. А ты лежишь на снегу в вытертой шинельке, без пилотки. А-а, каково тебе?» — Артюхов нагнулся, поднял пилотку. С кокарды на него глянул орел, державший в лапах свастику. Василий поборол чувство брезгливости: нагнулся и прикрыл лицо убитого пилоткой».

А вот налет «юнкеров» на деревню перед танковой атакой.

«Входную дверь в сенцах сорвало с петель, и она валялась метрах в пяти от крыльца, под раkitой, на которую связисты забрасывали провод. Улица завалена обломками тесовой крыши, невесть откуда свалившимися бревнами. Под бревнами, припорошенные коричневой пылью, чернели трупы связистов; торчмя торчали катушки с синим, неестественно ярким проводом.

Артюхов глянул в сторону связистов: может, живы ребята? Постоял, прислушиваясь, — ни стопа, ни зова о помощи. Где-то в другом конце улочки, у моста, послышался дробный перестук копыт. Василий обернулся: от мостка, вдоль изб, скакал сержант Глушков, связной командира батареи.

— Танки! — крикнул он.

Из-за корявых раkit, росших вдоль ручья, показалась батарея. Впереди — комбат и политрук, каждый на своей верховой: капитан на Красавчике, а политрук — на пегой кобылке, которая не могла бежать рысью, а семеняла только иноходью. Упряжки неслись налегке, споро — Артюхов и Бутин взмокли, пока догнали свой взвод. Глубокий снег мялся под ногами; пот катился по лбу и по спине».

Описания Сергея Крутилина неторопливы, объемны, точны, основательны. Работа войны. Возможно, когда-то, в середине 70-х, когда повесть выходила в журнале «Наш современник» (1975, № 7,8), они, эти описания, казались скучными, затянутыми и почти лишними. Теперь они читаются с жадностью. Художник свое дело сделал добросовестно и навсегда.

6

От повести к повести, словно набираясь сил, наполняя притоками и ливнями, река романа пошла уже мощным и энергичным потоком. Меняется даже стиль письма. Фразы более энергичные, емкие. Повествование ведется от первого лица. Вначале это кажется необычным. Но уже скоро понимаешь, зачем это. Повесть о пережитом. Поэтому все на своих местах: «я», «мы», «нам», «наши»...

«Мы готовились к наступлению. Через узкую горловину коридора, проломленного нами в немецкой обороне на Волхове, по лежневке, под обстрелом и бомбежками, нам везли сухари и снаряды. Наконец пришло и то памятное утро. Мы стреляли изо всех орудий. Снарядов приказано было не жалеть. Казалось, земля от орудийных выстрелов расколется на две половинки, так мы ее долбили. Стреляли и сорокапятки, и полковушки, и гаубицы. У моих пушек краска отекла со стволов. От залпов «катюш» горел лес за насыпью, а самую насыпь орудия и минометы исковыряли, ровно конюшата крутой речной берег».

В «Окружении» меньше описаний. Фразы короче, но прицельней, словно очере-

ди автоматов, когда надо думать о том, что боеприпасов не вволю: «...нам везли сухари и снаряды», «...краска отекала со стволов». Батарейный повар сержант Максимов: «Товарищ старший лейтенант. Я насобираю прошлогодней клюквы. Сварил кисель...», «...когда сидишь на дне окопа, звуки боя всегда слышатся лучше».

Такое не придумается.

Никто из писателей военной темы не рассказал об окружении, о жизни в «котле» так, как сумел это сделать Сергей Крутилин. А описание прорыва, боя на выход, — такую батальную сцену мог создать только тот, кто сам побывал там, кто сам бежал под пулями и минами по лежневке. Из русской литературы вспомнить можно разве что «Железный поток» А.С. Серафимовича и «Разгром» А.А. Фадеева. Но тут героика иная — без пафоса. Пафос снижен до естественного желания почти животной силы — выжить!

И да простит меня взыскательный читатель за обширную цитату из «Окружения», но без этого места всякие разговоры легки.

«Когда-то ее объятия доставляли мне радость. Теперь теплые Панины ладони причиняют мне лишь неудобство и острую боль.

— Потерпи! Потерпи, милый... — Она достает из кармана куртки индивидуальный пакет; умело, одним движением, надрывает его и начинает бинтовать. — Последний... Теперь ни к чему. Осталось лишь вот это болото. Там, глядишь, наши помогут. Помогут! Обязательно! А то как же? Неужели отступятся? — говорит, а сама продолжает бинтовать.

“Значит, последний пакет, — думаю я, — Для себя берегла. И отдала мне...”

— Готово. Я затянула покрепче. Можешь прыгать через кочки... — подбадривает меня Паня. — Вставай — уже побежали.

Я с трудом приподымаюсь. Встают и батарейцы. Майор Лысенко надевает гимнастерку, которая так и не высохла над огнем.

Пошли. От слабости подкашиваются ноги. Но я не подаю виду, перебарываю себя. Взрыва мин на лежневке не слышно. Все принимают это за сигнал, что путь свободен. Никому не приходит в голову, что смельчаки могли и погибнуть. Никто не хочет думать именно так.

Вперед вырываются бойцы повыносливее, посильнее, покрепче.

Батарейцы с трудом втискиваются в людской поток. Лежневка разбита. Бревна погружаются в топь, поверх их выступает вода. Но люди не замечают этого — для них главное сейчас то, что дорога свободна, что бегущие впереди не падают, не подрываются на минах — на остальное наплевать!

Пулеметы от узкоколейки постреливали, но расстояние было слишком велико, чтобы вести прицельный огонь. А шальной, рассеянный — никого не пугал. Разрывные пули фейерверочными огнями вспыхивали над болотными кустами; посвистывая, пролетали над головами. Кто-то падал на бегу; может, поскользнулся на мокром кругляке, может, убит или ранен — кто знает? Остановиться, чтоб помочь упавшему, нет возможности: удержишься — мигом сбросят в болото, растопчут.

Мы бежим с Паней рядом.

И я теперь бегу. Стараюсь из последних сил. Даже если бы совсем не было сил, даже если б ни капли крови не осталось в моем сердце, — то и тогда бы я бежал. Так сильно было стремление выйти к своим. Так неотвратим был бег окружающих меня людей.

Лежневка прогнулась от тысячи бегущих ног. Поверх бревен плыла, пенилась болотная жижа. Но люди не замечали этого — ими владело одно желание: вперед! Черная, молчаливая толпа растянулась на добрый километр: и впереди — люди, и позади — люди. Мокрые, в рваной одежде, с окровавленными, как и у меня, повязками...»

Удивительно чутье художника! Заметьте, Сергей Крутилин не пишет: «...и впереди бойцы» или «солдаты». Люди! Окруженцы!

«Мы были, видимо, посреди болота, когда над лежневкой трескуче и словно бы случайно пронеслась пулеметная очередь. Через мгновение — еще и еще раз. На этот раз раскатило, басовито. Пулемет бил с того края болота — навстречу, в упор по бегущим. Но никто уже остановиться не мог.

Кто-то падает; кто-то стонет, распластавшись на лежневке, но сзади напирают все новые и новые волны окруженцев.

Подвластный этому неудержимому движению, бегу и я, не чувствуя уже ни усталости, ни боли в плече. Нет и сознания опасности. Лишь клокочет внутри ожесточение: «Ну, обождите, вражины, будет и на нашей улице праздник!»

Еще один рывок. Я уже вижу окоп, откуда стреляет немецкий пулемет».

Именно здесь в повести Сергея Крутилина возникает ось противостояния. Она зрима. Она разит и убивает. Поток бегущих по лежневке через болото — «черная пасть немецких окопов» с ожившим пулеметом. Кто — кто?

«Где-то за болотом, в стороне узкоколейки, вспыхивает “ура”. Видимо, и там наши прорвались.

— Ура! — кричу я. Но мой крик никто не подхватывает. А может, у меня и крика-то не получилось, а стон один. Губы у меня спеклись — от жажды; в горле все пересохло.

Соседи мои, как и я, бегут из последних сил.

Пулемет все стреляет.

А люди бегут и бегут.

Еще триста... двести метров. Снова по обе стороны лежневки показались кочки и кусты ольшаника. Туман уже не клубится, и кусты не кажутся мне серыми гривами лошадей. Я гляжу мимо кустов — на черную пасть немецких окопов.

Пулемет стреляет.

А люди все бегут и бегут.

Плюхаются в воду, бултыхаются, выбираются, бегут, перепрыгивают с кочки на кочку. Кто-то кричит: “Генка, гляди: кювет!” — и бойцы прыгают с гати в кювет. Но я не прыгаю, продолжаю бежать по мокрым круглякам.

Я не спускаю глаз с немца-пулеметчика. Один, гад, управляется, без напарника. Небось погибли все помощники. Без кителя, в одной исподней рубахе. Работничек. Жарко ему. На голове, однако, каска. Бойтся. “Ну, обожди, вражина, ты сейчас получишь!” Я достаю из-за спины автомат. Целуюсь, как могу, и стреляю длинной очередью. Мимо... Мне бы только срезать вот этого пулеметчика. О, я теперь хорошо понимаю состояние раненого Коли Зотова! Жаль только, что мало осталось патронов в диске. Сдерживая себя, я стреляю короткими очередями. “Я тебя достану! Я тебя срежу сейчас!”

— Ура-а! — кричит кто-то над ухом.

Смотрю: Чуев.

— Ура-а! — орет во все горло пехотинец, сменявший сапоги на обмотки: живой, черт!

Клич этот разносится над лежневкой; его подхватывают и бойцы, бегущие по болоту. Кажется, не от топота тысяч людей, спешащих к своим, к жизни, содрогаются ободранные кругляки гати, а от этого мощного крика.

Немец-пулеметчик вдруг выскакивает из окопа, заламывает руки над головой, и над лесом раздается его жуткий утробный смех. Этот странный смех никак не вяжется с тем, что немец только что вершил на песчаной косе, где кончалась лежневка.

— Ах ты, гадина! — Я снова выпускаю очередь, жму на спусковой крючок до тех пор, пока автомат не умолкает. <...>

— Комбат? Жив! — окликает меня кто-то.

Я скидываю глаза: Тябликов. Как всегда, туго перетянут португеей; автомат наизготовку; спокоен, только шрам порозовел от натуги. Следом за старшиной через бруствер переваливаются человек пять автоматчиков из бывшего васюринского взвода, а с ними и наши — Санкин, Абдуллин, Чихачев... Последним вваливается в окоп майор Лысенко. Перелезает через бруствер вяло, бочком, боясь потревожить раненую руку.

— А Паня где? — спрашивает майор.

— Паня?! — вскрикиваю я. Пошатываясь, я поднимаюсь на бруствер. У меня нет сил сдвинуться с места. — Тут она была. Мы бежали вместе. Рядом.

Лысенко поднимается следом за мной, и мы стоим на земляной насыпи, смотрим назад, на лежневку.

— Не могла же она так, сразу сгнуться? — обеспокоенно говорит Лысенко. — Она бы крикнула. Позвала.

Подходят Ахмед и Санкин.

— Подождем. Сейчас объявится, — говорит добрый Ахмед».

Санинструктор сержант Паня Зайцева так и не появилась. Она не вышла. Роман «Апраксин бор» надо читать не бегло, как обычно прочитываются книги. В повести, составляющие трилогию, надо всматриваться, как в поле боя, — всякая мелочь и деталь чрезвычайно важны.

Огромная смысловая и энергетическая сила заключена в фразах: «Пошли»; «Лежневка прогнулась от тысячи бегущих ног»; « — В четвертый раз выхожу — и жив! — радостно говорит Санкин».

7

В работе над трилогией Сергеем Крутилину во многом помогала Таруса, маленький городок в среднем течении Оки между Серпуховом и Калугой.

После демобилизации из армии в 1943 году Сергей Крутилин занимался журналистикой. В 1947 году окончил филологический факультет МГУ. Работал в редакциях журнала «Смена» и еженедельнике «Литературная газета». В те годы там было много фронтовиков.

В 1953 году была опубликована повесть «Родники». В 1961 году вышел первый роман «Подснежники». В 1963 году в журнале «Дружба народов» вышла первая часть романа «Липяги». Сергей Крутилин, наконец, нашел свою тему и обрел свой литературный стиль и ритм. Сергей Залыгин тут же отреагировал: «Не хочу предрекать, что «Липяги» будут интересны каждому, независимо от возраста, от эстетических вкусов. Наверное, это не так. Не всякому свойственна любовь к небольшому русскому селенью, самому обыкновенному и неприметному. Но тот, кому любовь эта не чужда, будет волноваться, читая «Липяги», будет задумываться, будет вспоминать прошлое и мечтать о будущем».

Всю жизнь его окликала военная тема. Пережитое, где особенно зримо обнажена была грань жизни и смерти.

В «Литературной газете» Сергей Крутилин познакомился с журналисткой и редактором Верой Любимовой. Вскоре они поженились. Однажды Вера Сергеевна позвала его в Тарусу, куда ее семья выезжала часто в летние месяцы. Городок, тихий и уютный, Сергеем Крутилину понравился. К тому времени Таруса уже была наполнена славой Марины Цветаевой, Анатолия Виноградова, Николая Заболоцкого, Константина Паустовского. Только что отгрохотал скандал по поводу «Тарусских страниц», альманаха, попавшего под удар партийной критики. В Тарусе была прекрасная рыбалка, красивые окрестности, где можно было побродить по березнякам и подышать смолистым воздухом сосняков. Вначале Крутилины сни-

мали комнату в доме у самой Оки. Потом купили свой дом по соседству с домом Паустовского. В саду Сергей Крутилин построил небольшую уютную беседку, где в основном и работал.

В Тарусе есть свой герой — генерал М.Г. Ефремов. В феврале 1942 года его 33-я армия уже на спаде московского контрнаступления глубоко вошла в немецкую оборону в направлении на Вязьму и была отсечена от тылов в районе Износок. Кстати, санинструктор 368-й стрелковой дивизии, входившей в состав 33-й армии, Ольга Кожухова хорошо запомнила момент боя на отсечение и ликвидацию коридора к Вязьме и впоследствии рассказала в одном из своих послевоенных очерков. 33-я армия была рассечена. Западная группировка, ушедшая к Вязьме во главе с командующим, оказалась в «котле», и немцы этот «котел» постепенно сжимали. В апреле пришел приказ на выход. Прорывались в сторону Юхнова. Прорыв оказался неудачным. Погиб большой обоз с ранеными и больными (несколько тысяч человек), погибли остатки трех стрелковых дивизий, полевое управление армии. Чтобы не попасть в плен, тяжело раненый командарм застрелился. Картина прямо противоположная той, которая произойдет спустя несколько месяцев на Волхове в районе Мясного Бора.

Сергей Крутилин, конечно же, интересовался историей гибели 33-й армии и ее командующего. Слышал истории, которые собирались в Тарусе, как в воронке. Эти истории прилетали на родину М.Г. Ефремова с разных концов страны от ветеранов и очевидцев из числа жителей деревень, которые зимой-весной 1942 года занимали части и соединения 33-й армии и через которые они потом пытались вырваться из окружения.

В 1965 году Сергей Крутилин вошел в состав правления Союза писателей СССР.

С 1967 года — член редколлегии журнала «Москва».

Сергей Андреевич Крутилин умер 28 февраля 1985 года. Похоронен в Тарусе на старом кладбище.

БИБЛИОГРАФИЯ

Подснежники. Роман. — М.: Советская Россия, 1961.

За поворотом. Очерки. — М.: Советский писатель, 1961.

Липяги. Из записок сельского учителя. — М.: Советский писатель, 1964.

Липяги. Из записок сельского учителя. — М.: Советская Россия, 1964.

Липяги. Из записок сельского учителя. — М.: Советская Россия, 1966.

Липяги. Из записок сельского учителя. — М.: Известия, 1967.

Лейтенант Артюхов. Повесть. — М.: Советский писатель, 1970.

Липяги. Из записок сельского учителя. — М.: Художественная литература, 1973.

Косой дождь. Повесть. — М.: Современник, 1973.

Апраксин бор. Роман. (Книга первая «Лейтенант Артюхов», книга вторая «Кресты»). — М.: Молодая гвардия, 1976.

Апраксин бор. Роман в трех книгах. — М.: Молодая гвардия, 1978.

Мастерская. — М.: Молодая гвардия, 1981.

Липяги. Из записок сельского учителя. — М.: Советская Россия, 1982. («Земля родная»).

Собрание сочинений. В 3-х т. — М.: Современник, 1984.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

Орден Трудового Красного Знамени.

Орден Дружбы народов.

Орден «Знак Почета».

Медали.

Государственная премия РСФСР за роман «Липяги» (1967).